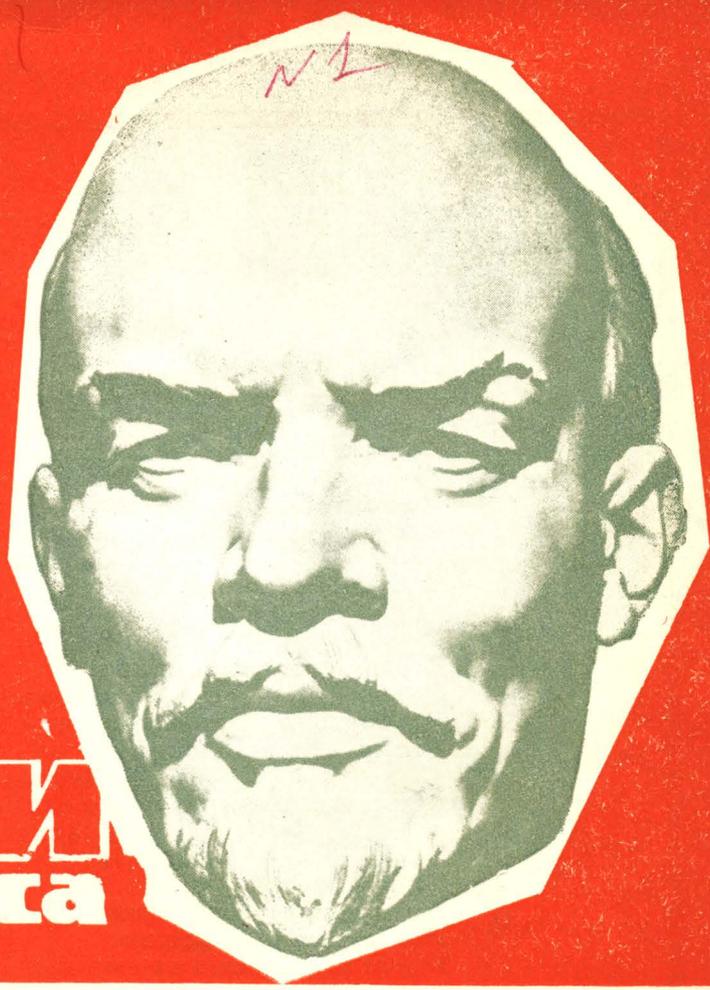


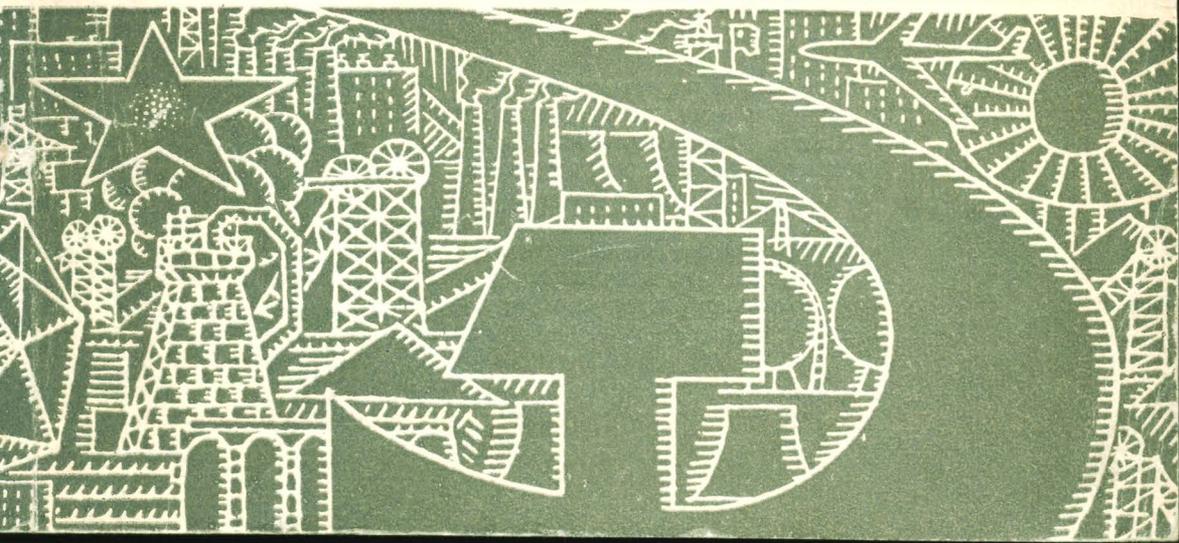
0-38
261755

207

N 2



**ОГНИ
КУЗБАССА**



Евгений Буравлев

22 апреля

Сегодня все, — кто с нами и не
с нами, —
И всяк своей надеждою горя,
Особо пристально глядят на наше
знамя,
Пропитанное кровью Октября.

Под ним рождалась, крепла
и мужала,
К победам над врагом вела полки
Россия — Первая Советская
Держава.
Скрестивши насмерть с миром зла
клинки.

Его как стяг свободы поднял Ленин,
И сыновья и дочери страны
Встают из поколенья в поколенья
Под это знамя, Ленину верны.

Я верю в молодые руки эти,
Что не уронят наш багряный стяг,
К каким бы ухищрениям на свете
Ни прибегал воинствующий враг.

Иного знамени, иной дороги нету —
Зовут весь мир нацеленные ввысь
Кремлевских башен мирные ракеты
На светлую орбиту — в коммунизм!

ОГНИ КУЗБАССА

Год издания 22-й

№ 1, 1970

ЛИТЕРАТУРНО-
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-
ПОЛИТИЧЕСКИЙ
АЛЬМАНАХ,
ОРГАН
КЕМЕРОВСКОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ
СОЮЗА
ПИСАТЕЛЕЙ
РСФСР



389146

В номере:

3—6 Н. П. Нефедов. На посту у ленинской
квартиры

ПРОЗА, СТИХИ

- Евгений Буравлев. 22 апреля. Стихи
[2-я стр. обложки].
- 6 Геннадий Сысолятин. «Озеро Перово.
Камыши...». Стихи.*
- 7—44 Олег Павловский. Нам было семнад-
цать... Повесть.
- 45 Николай Домовитов. Туесок. «Ах, ты,
речка, речка Тоть...» «Не шумит сибирская
тайга...» У костра. До свидания, Сибирь! Сти-
хи.
- 46—50 Эдуард Маципуло. На развилке. Рас-
сказ.
- 51—52 Петр Шмаков. Хлеб. Рассказ.
- 52 Владимир Мамаев. Весна. Стихи.
- 53—60 Андрей Бедрин. Мы — не рабы. Рассказ.
- 60 Всеволод Соболев. Северные ночи.
Стихи.
- 61—67 В. Мартемьянов. В жарком небе Ис-
пани.

ПРОШЕЛ... УВИДЕЛ... РАССКАЗАЛ...

68—72 Илья Зыков. Пасечник.

КРИТИКА

73—77 А. Абрамович. В. И. Ленин и А. М. Горь-
кий.

ВЕСЕЛАЯ МИНУТКА

78—84 Геннадий Емельянов. Возьмите на ка-
рандашик. Пятно. Подагра, Карл Великий и я.
Юмористические рассказы.

Редактор В. М. Мазаев

**Редакционная
коллегия:**

**А. Ф. Абрамович,
Е. С. Буравлев,
А. Н. Волошин,
Г. А. Емельянов,
Н. Н. Зеленин,
В. В. Махалов,
О. П. Павловский (отв. секретарь).**

Адрес редакции: Кемерово,
Советский проспект, 44.

*Ведущий редактор Л. В. ГЛЕБОВА
Художественный редактор
О. С. КРАСОВА
Технический редактор Г. В. АДОВА
Корректор Т. Е. ТРУСОВА*

Рукописи объемом менее печатного листа не возвращаются.

На первой странице обложки — фрагмент скульптурного портрета В. И. Ленина работы скульптора Н. А. Андреева.

Кемеровская областная
научная библиотека
Краеведческий фонд
№ 261455

Сдано в набор 23.I.1970 г. Подписано к печати 3.VII.1970 г. Формат 70×90^{1/16}. Бумага типографская № 1. Усл. печ. л. 6,14 + вклейка 0,29 усл. печ. л. Уч.-изд. л. 9,05. Тираж 5000. ОП01002. Заказ № 721. Цена 35 коп.

Кемеровское книжное
издательство
Кемерово, Советский пр., 94

Полиграфическое
объединение «Толь»
Кемерово, Ноградская, 5

3—21
70—М

НА ПОСТУ У ЛЕНИНСКОЙ КВАРТИРЫ

Я отношусь к числу тех, кому в жизни выпало редкое счастье быть участником Великой Октябрьской социалистической революции, счастье видеть и слышать величайшего гения пролетарской революции, создателя Коммунистической партии Советского Союза и первого в мире социалистического государства Владимира Ильича Ленина.

У каждого из нас есть незабываемые дни и события, которые мы вспоминаем с особым чувством. Проходят годы, десятилетия, а сердце хранит их как самое дорогое и близкое. Такими днями в моей жизни было пребывание в Кремле и особенно встречи с Владимиром Ильичем Лениным.

Это было в грозном 1919 году. Шел второй год ожесточенной гражданской войны, год тягчайших испытаний для Советского государства. Более чем миллионная армия белогвардейцев и интервентов одновременно наступала на шести фронтах. Деникинцы рвались к Москве. Они захватили Орел и продвигались к Туле. Юденич дважды приближался к Петрограду. Империалисты объявили Советской России блокаду и начали военный поход.

Наши вооруженные силы испытывали нужду в квалифицированных командных кадрах. Для решения этой задачи, по указанию Владимира Ильича, была создана сеть курсов подготовки красных командиров.

По всей России прозвучал ленинский голос: «К весне мы должны иметь трехмиллионную армию».

Для такой армии нужно было сто тысяч красных командиров. Я вспоминаю плакат тех времен: рабочий в рубаше с закатанными рукавами и крестьянин с окладистой бородой обращаются к молодым людям: «Иди на командные курсы! Надо учиться руководить защитой республики рабочих и крестьян».

Они указывают на предметы, изучить которые обязан будущий красный командир. Сабля и винтовка, саперная лопата и снаряды разных калибров, полувернутая топографическая карта, стопка книг...

Весной 1919 года меня, красноармейца-пулеметчика, послали с Восточного



«ЛИЧНЫЙ ПРИМЕР». С рисунка худ. Н. Жукова

фронта на Первые московские командные пулеметные курсы, находящиеся в Кремле.

Я прибыл в Москву в распоряжение Главного управления военно-учебных заведений. После проверки документов получил пропуск и с большим волнением прошел через Троицкие ворота на территорию Кремля.

Присутствие Ленина в Кремле, возможность увидеть его вдохновляли и окрыляли.

Я сознавал, что жить в Кремле рядом с великим Лениным — очень большая честь и большое доверие, тем более для меня, молодого паренька. Все это ко многому обязывало и накладывало огромную ответственность.

Я представился командованию курсов, меня зачислили в 3-ю роту, 3-й взвод, 4-е специальное пулеметное отделение.

Итак, я стал курсантом. Слово это родилось в грозном 1918 году, когда защита завоеваний революции стала первой задачей Республики Советов.

Нас собрали со всех фронтов. В большинстве своем это были молодые люди,

сознательно пришедшие на защиту революции. Мы пришли учиться, чтобы завтра самим учить других.

Обучаясь на курсах, мы одновременно несли охрану Кремля. Мы были молоды, но отчетливо понимали, какое огромное доверие оказано нам, солдатам революции. Мы знали, что за Лениным охотятся враги, устраивают покушения, мы должны беречь Ленина, не щадя своей жизни. И мы с честью выполняли свою почетную обязанность.

На самых дорогих и священных для советских людей постах у квартиры и кабинета Ленина приходилось стоять и мне.

Вот тогда я и имел возможность неоднократно видеть и слышать Ленина.

В те времена был такой порядок, введенный после злодейского покушения на жизнь Владимира Ильича. Часовые стояли не только на внешних, но и на внутренних постах. И даже Ленин обязан был предъявлять пропуск, без него он не мог пройти к себе ни в квартиру, ни в кабинет.

По инструкции часовой не имел права без пропуска пропускать товарища Ленина, если даже и знал его в лицо. Предъявление пропуска было обязательным. Владимир Ильич этот порядок строго соблюдал. Подходя к часовому, он всегда сам, не дожидаясь требований последнего, предъявлял пропуск в развернутом виде, показывая этим самым пример дисциплинированности и уважения к курсанту, выполняющему воинский долг.

Трудно передать все мысли и чувства, которые овладевали тогда мною при встречах с Владимиром Ильичем.

При всем величии Ленина вокруг его имени никогда не шумело славословие. О нем говорили скромно, просто: «Товарищ Ленин», иногда «Ильич».

Мы являлись свидетелями того, как неутомимо и напряженно работал В. И. Ленин. Бывало, стоишь на посту в Совнаркоме — глубокая ночь, а работа кипит. Вот открывается дверь, из своего кабинета выходит Ленин. Пройдет, как всегда, быстро, иногда остановится перед курсантом, что-нибудь спросит, скажет с улыбкой два-три ободряющих слова. Стоишь и думаешь: когда же спит и отдыхает Владимир Ильич?

Мы видели Ленина не только тогда, когда проверяли у него пропуск, но и тогда, когда он проходил по территории Кремля, отдыхал, прогуливаясь.

Наши казармы находились против правительственного здания, в котором жил и работал вожь революции, а поэтому мы имели возможность наблюдать, когда Владимир Ильич выходит из главного подъезда Совнаркома или входит в него. Нам приходилось также сопровождать Владимира Ильича во время поездок на митинги, на собрания. Он выступал перед рабочими на заводах, фабриках и в красноармейских частях.

Первые московские пулеметные курсы были любимым детищем Владимира Ильича. К нам, курсантам, Ленин относился с особой отеческой теплотой, никогда не упускал случая общения с нами в течение всей нашей учебы, заходил к нам в казарму и в наш курсантский клуб.

Беседуя с нами, Владимир Ильич интересовался широким кругом вопросов. Однажды, говоря о нашей учебе, Ленин спросил, что мы сегодня изучали. Ему ответил курсант Прокофьев, что изучали фортификацию. Тогда Владимир Ильич, стараясь быть серьезным, спросил: «А что это такое?» Но от нас не ускользнула лукавинка в глазах Ильича.

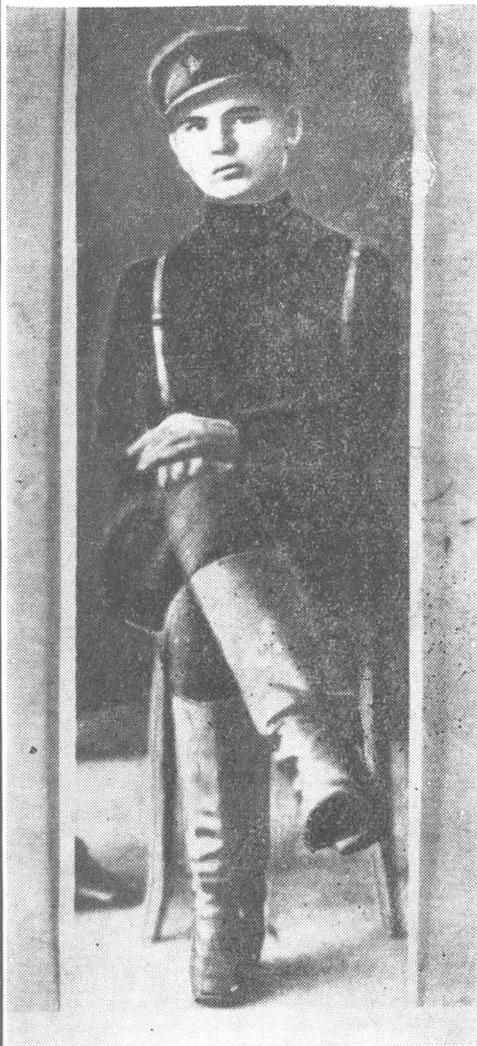
Но поскольку вопрос был задан, нужно отвечать. Объяснять взялся тот же товарищ Прокофьев. Внимательно выслушав ответ, Владимир Ильич сказал, что курсанту можно отлично поставить по этому предмету. Мы поняли добрую шутку Ильича.

Если Владимир Ильич узнавал, что его собеседник из рабочей семьи, он высказывал большое удовлетворение тем, что командные кадры создаются из рабочей среды. Однажды он встретился с курсантом Ефремовым, питерским рабочим-путиловцем. Ильич загорелся тогда особенным интересом и долго с ним беседовал. Они разговорились о Питере, об участии путиловцев в революционной борьбе.

Бывая среди нас, Владимир Ильич стремился выяснить, как живут, учатся, о чем думают молодые курсанты, каково их лицо, кто они, чем нужно помочь, от чего предостеречь.

Каждое слово Ленина было для нас и руководящим указанием вожьды, и советом друга, и наставлением старшего товарища. Из этих бесед мы делали выводы, что Владимир Ильич хочет видеть нас политически зрелыми, культурными, квалифицированными командирами.

Беседы с Владимиром Ильичем всегда



Н. П. Нефедов после окончания курсов командного состава РККА

отличались непринужденностью, теплотой, задушевностью. Невольно чувствовалось, что среди нас находится простой, бесконечно близкий, родной и в то же время большой человек. Острый, проникновенный взгляд умных и добрых ленинских глаз, простое и добродушное

выражение его лица — это было каким-то подкупающим и располагающим к нему и создавало товарищескую обстановку, в которой находились два равноправных собеседника. Такая беседа, такие встречи запомнились навсегда. Это были для нас праздничные минуты.

Каждый из нас, кому приходилось разговаривать с Ильичем или только видеть его, немедленно информировали об этом своих товарищей, и все с огромным интересом слушали счастливого.

Однажды товарищ Ленин зашел в курсантский клуб, когда шла репетиция нашей самодеятельности. Хор курсантов разучивал под руководством преподавателя (пианистки) песню. Владимир Ильич задержался на несколько минут и послушал нас.

Владимир Ильич любил слушать, как поют курсанты.

В одной из бесед мы сообщили Владимиру Ильичу, что решением общего собрания курсантов мы отчислили из своего пайка по полфунта хлеба в пользу московских детей. Он похвалил нас за это и подтвердил, что продовольственное положение в Москве очень тяжелое. Действительно, хлебный паек рабочих был очень мал и выдавался с перебоями, в зависимости от поступления хлеба в столицу. Да и хлеб был низкого качества. Горячий, он издавал неприятный запах, а черствый делался твердым и тяжелым, камнем ложился на желудок, вызывая желудочные заболевания. Картофель был редким лакомством. Недоедание подтачивало силы рабочих.

Меньшевики и эсеры злорадствовали по поводу наших продовольственных затруднений, старались размагничивать волю рабочих, подрывать их уверенность в твердости Советской власти.

Питание курсантов было также на уровне возможностей того периода. Наше меню составляли суп из селедки или воблы и каша из пшеницы или ржи. А вместо масла иногда давали небольшую порцию сахарного песка.

Сам Владимир Ильич питался тем же, что получали все сотрудники Кремля.

Курсанты очень ценили внимательное, сердечное, заботливое отношение к ним Ильича и отвечали ему своей преданностью и любовью. На собрании курсантов Владимир Ильич был избран Почетным курсантом, а затем и Почетным командиром курсов.

Позже Почетными курсантами были избраны Михаил Иванович Калинин и 5

рабочий бывшего завода Михельсона (теперь завод имени Владимира Ильича) Николай Яковлевич Иванов, который задержал террористку Каплан, покушавшуюся на Ленина. Три почетных курсанта: вождь революции, президент первой республики трудящихся и рабочий. Это очень символично!

Мое пребывание в Кремле, встречи с

Лениным — незабываемое событие в моей жизни. Я никогда не могу об этом вспоминать спокойно, без волнения.

*Н. П. НЕФЕДОВ,
бывший курсант Московских
кремлевских пулеметных
командных курсов, член
КПСС с 1918 года*

Геннадий Сысолятин

● ● ●

Озеро Перово. Камыши
Вбиты в дно, как из бамбука колья.
Низкий берег. Шалаша дреколье.
Сосны. И на версты — ни души.
Медь стволов сосновых так звонка,
Что на струны, на лады годится —
Повторит любую ноту птицы,
Если даже нота высока.
Медь и смоль, что стынет, как янтарь,
На стволе с отстреленной коринкой.
На стволе горячею дробинкой,
Может, невзначай пробитом встарь.
Памятка — ей сколько лет и зим!
Где стрелок, что хаживал, бывало,
Слушать бора вечные кимвалы,
Зоревать над озером лесным!

Он ушел — в пространство и в года,
К жизни новой и охоте новой.
Но озерный плёс, но бор сосновых
Неизбывно ждут его сюда.
Но теперь над ним не властен зов
Журавлиных труб, лесного шума.
Он — страны дыхание и дума,
Ветер — в крылья алых парусов.
Он — отец нам всем. И потому
Мы в родстве с Разливом и Шушою.
И приносим шушенскую хвою
К Мавзолею красному — Ему, —
Чтоб и там витали плёс и бор,
И Саян лиловые ступени, —
Все, к чему был в жизни близок Ленин,
Что вошло в нас до тончайших пор.

Олег Павловский

НАМ БЫЛО СЕМНАДЦАТЬ...

ПОВЕСТЬ

МАЛЬЧИШКИ

— С-смир-р-р-но!

Мы слегка задираем головы, напряженно тянем руки по швам, и каждый из нас, ручаясь, думает об одном — ну, кому, зачем нужна вся эта муштра, когда фронт ждет солдат, умеющих стрелять, а не стоять, деревеня, навтыажку.

Нам бы винтовки да по сотне патронов к ним — можно и с колена, и лежа, и стоя — только скомандуй, не подведем. Но винтовки, говорят, мы получим недели через две, не раньше, а пока...

— Морозов, куда смотришь? Ворон считаешь?

Это ко мне. Я действительно смотрю не на взводного, как положено по уставу, а в сторону, туда, где за плотным, ограждающим воинскую часть забором стоят штабеля тщательно уложенных по размерам досок.

Предмайское погодые пригрело шапки снега на штабелях. Снег враз осел, поседел, и шапки стали похожи на подгоревшие и оплывшие олады. По краям доски облеплены толстыми сосульками. Даже отсюда видны порхающие в сосульках солнечные блески. И, конечно, всю звенит капель. Но мы ее не слышим. Слух наш настроен на зычный голос взводного. И кроме этого голоса уши никаких посторонних звуков не воспринимают.

А я знаю: по всей Северной Двине звенит капель, точно так же, как по всей Се-

верной Двине стоят штабеля досок, никому сейчас не нужных и потому посмурневших, ссутуленных, словно от старости.

Уже скоро два года, как идет война.

Уже скоро два года, как пустуют причалы, и порталные краны стоят безмолвными, снижшими сторожами. А было время — стояли на рейде заморские корабли в очередь за прославленным архангельским лесом. По их разноцветным рисунчатым флагам мы определяли, из какой страны приплыл лесовоз.

Словно не капель, а слезы роняют сидящие штабеля.

Я перевожу взгляд со штабелей на взводного и смотрю на него, не моргая. От напряжения глаза начинают слезиться. Взводный удовлетворен.

— На-апра-а-во! Шшшагом а-арш!

Щепа и опилки утрамбованы так, что идешь по сплошной насыпи, словно по гранитной мостовой, и только звуки шагов не отдаются, а глухо скрадываются почвой, на которой плохо растет даже неприхотливая сорная трава.

Когда-то, еще при Петре Первом, здесь было кочковатое болото, называемое по местному мхами. На мхах в изобилии росли клюква и морошка. Потом на берегу реки поставили лесопильный заводик. Он стал разделять сплавляемый по Двине лес на доски. Опилки, кора, обрезки — все сваливалось во мхи. Так с годами образовалась твердая почва, на которой можно было ставить дома и прокладывать мостки-тротуары. По привычке люди называли эту насыпь землей, и кое-кто ухитрился даже завести на ней крохотные, но все же зеленые огородики. «Земля» эта хороша была тем, что по весне и осени моментально впитывала в себя влагу, и грязи в поселке не знали. Зато, пригретая летним солнцем, она источала тяжелый запах гниющей древесины. Босиком по ней тоже не больно побегаешь — как шаг, так заноза, а то и две. Сколько повыковыривал я в детстве из ступней таких вот заноз, больших и маленьких, не счесть.

Сейчас нам не только щепа, а и железные колючки не страшны — ноги обуты в новенькие, с толстенной подошвой ботинки. С непривычки они кажутся примагниченными к земле, но больше всего каждого из нас беспокоят обмотки. Они вот-вот сползут с отождавших икр и располосуются следом. И тогда придется выходить из строя и под пристальным, насмешливым взором взводного, под ободряющими взглядами довольных передышкой товарищей, топ-

ливо обматывать голени широкой серо-зеленой лентой, то и дело грозящей выскользнуть из непослушных рук.

Эх, обмотки, обмотки! — нехитрый заместитель голениц солдатских сапог, о которых нам пока остается мечтать, потому что сапоги выдают только перед отправкой на фронт, о котором мы тоже только мечтаем.

— Бе-е-гом!

Пока все идет нормально. Мы кружим по плацу и довольно сноровисто для новичков выполняем команды взводного, хотя усталость начинает сковывать движения, а глаза молить о пощаде.

— Взво-од... стой!

Взводный тоже, видать, приморился. Да и время — пора бы объявить десятиминутный перекур.

— С-смир-р-но!

Мы вытягиваемся в струнку, лишь бы взводный остался доволен. Ведь ему ничего не стоит начать все сызнова.

— Вольно!

Ну, давай же, давай, не мотай душу...

— Пе-е-рекур!

Эта команда — словно звонок на перемену. И мы, по не успевшей забыться еще привычке, с шумом и гоголом срываемся с места и — куда только девалась усталость и сонливость! — разлетаемся по плацу, схватываемся в дружеской потасовке, вырываем друг у друга кисеты с махоркой, а запыхавшись, рассаживаемся где попало и начинаем неумело скручивать сигарки.

Нам по семнадцать с махоньким, и курить по-настоящему почти никто не умеет, хотя наверняка каждый вложил свой вклад в обустройство стен школьных уборных. Но теперь мы не школьники и к тому же вчера получили по первой пачке махорки — как тут ударишь лицом в грязь!

Взводный сидит чуть в сторонке, со вкусом затыгивается командирским «Беломором», искоса поглядывает на нас, и взгляд его, теплый сейчас и не по возрасту отеческий, будто бы говорит: «Эх, мальчишки, мальчишки! Ну, что мне с вами поделать!»

ТРЕВОГА

Проходят дни и недели, однообразные, как гороховый суп в обед. Все расписано, учтено, размерено. Не знаешь только — заработаешь ты сегодня внеочередной наряд или нет. Тут уж как сам постарайся.

А в двадцать три ноль-ноль — отбой.

8 Эта команда выполняется особенно чет-

ко. Мигом скручиваются обмотки, ложатся на полочку над головой гимнастерка с брюками, и через минуту в казарме воцаряется тишина. О крепости молодого солдатского сна говорить не приходится, но сон этот схож со сном кормящей матери. Как та просыпается, услышав хотя бы слабый плач ребенка, так и солдат тотчас вскакивает даже при негромком оклике своего командира.

Я плыву по Двине на огромной барже-плоскодонке. Баржу тянет коренастый буксиришко. На его широкой дымной трубе красуется белый и большущий, как у океанского парохода, гудок. Из гудка временами вырывается пар, но он остается нем, словно разевающая зубастую пасть щука. И вдруг слышу зычное:

— Подъем!

Вместе со мной, отпружинив от матрасов, взмываются сорок два тела.

— Надеть противогазы!

Кидаемся к стойке, разбираем сумки с противогазами, натягиваем маски.

— Ложись!

Быстренько ныряем под одеяла. И только Пушкин, слышимый прямолинейно поняв смысл команды, бухается прямо на пол, чуть не сбив с ног стоявшего возле него взводного.

Взводный намеревается выругаться, но, узнав в распростертом перед ним длинном и плоском теле с развязанными тесемками кальсон Пушкина, ковыряет воздух рукой и выходит.

Никаких, даже косвенных, отношений к родословной великого поэта наш Пушкин не имеет. Более того, он не знает наизусть ни одного пушкинского стихотворения и путает Дантеса с Арзамасом.

Нашего Пушкина зовут Васей. Он белобрыс, худ и сутул. Все старания недавно пришедшего к нам сержанта Климова хоть как-то выпрямить его спину ни к чему пока не привели. Команды до Пушкина доходят туго, наряды сыплются на него как из рога изобилия, и когда все преспокойненько похрапывают, Пушкин со товарищи драит шваброй коридор или туалет.

Как-то Пушкину повезло — день закончился для него благополучно. После отбоя сияющий Пушкин лег и тут же сладко захрапел. Сашка Латунцев, вечно чем-то недовольный и язвительный парень, предложил устроить Пушкину «велосипед» — зажать между пальцами ног клочок бумаги, но на Сашку обрушился весь взвод: незадачливый Пушкин в общем-то все любили и зло шутить над ним не позволяли никому.

И все же спать Пушкину пришлось недолго. Минут через пять после отбоя старшина по долгу службы обходил казарму: в порядке ли сложена одежда, не вздумал ли кто покурить перед сном, не подался ли в самоволку... Так было и на этот раз. Старшина, стараясь не скрипеть до блеска начищенными сапогами, прошелся меж коек, приостановился возле похрапывающего Пушкина, улыбнулся, повернул было назад, но почему-то вдруг задержался и потряс Пушкина за плечо.

Пушкин недовольно сморщился, отчего продолговатое лицо его стало похоже на сушеную грушу, поджал ноги, потом приоткрыл один глаз и, узнав старшину, икнул с перепугу. Не понимая еще, в чем же он мог во сне провиниться, Пушкин вскочил на ноги, заглопал подпухшими веками.

— Что это? — просипел старшина, показав на торчащий из-под матраса темный предмет.

Пушкин сонно моргал и молчал.

— Что это, я спрашиваю? — у старшины начали раздвигаться ноздри.

Пушкин пожевал губами и, опять-таки ничего не сказав, вытащил предмет, оказавшийся обыкновенной шваброй.

Дело в том, что швабр не хватало, и Пушкину нередко приходилось ждать, пока товарищ по несчастью выдаст свою часть и передаст швабру ему. На этот раз Пушкин решил схитрить и, видимо, еще с утра припрятал швабру. Но не рассчитал.

По горящим глазам старшины Пушкин все понял, быстро оделся и пошел мыть туалет.

Не знаю, наедался ли когда Вася досыта в своей Шалакуше — деревеньке между Архангельском и Няндомой, — но здесь он ходил вечно голодным, хотя кормили нас по тем временам вполне сносно. «На гражданке» о таком пайке только мечталось, и мы все тут поздоровели. Пушкин тоже далеко не походил на дистрофика, но, видимо, навязчивая идея наесться до отвала преследовала его с самого дня рождения.

Пытаясь выгадать что-то для своего желудка, Пушкин простодушно менял первое, скажем, на второе, порцию сахара и компот — на утреннюю горбушку хлеба и так далее. Узнай об этом старшина, Пушкину досталось бы на всю катушку, но обмена свои он совершал втихаря, а доносить друг на друга у нас не было принято. Хитрые и предприимчивые ребята пользовались Васьиной слабостью, и случалось так, что совершив за день несколько вариантов обмена, Пушкин за ужином оставался с одним стаканом чая, а потом долго и туго

соображал, как же так могло получиться.

Однажды Пушкину выпало дежурить на кухне. Насколько помнится, так крупно ему повезло только раз. Дежурство на кухне считалось особо почетным. Ну, Пушкин и расстарался. Работал он, правда, за двоих, все распоряжения повара выполнял точно и беспрекословно, а когда очередь дошла до еды — тут уж равных ему вообще не нашлось.

А ночью Пушкину стало плохо. И надо же было командиру роты выйти в коридор как раз в тот момент, когда Пушкин, держась одной рукой за живот, а другой зажимая рот, с вытаращенными, полными боли и ужаса глазами топтал в уборную.

Старший лейтенант терпеливо дождался, пока Пушкин сделает свое дело, остановил его, бледного и облегченного, спросил строго:

— Фамилия?

— Рядовой Пушкин, товарищ старший лейтенант.

— На кухне дежурил?

— Дежурил, товарищ старший лейтенант.

— Объелся?

Пушкин потупил глаза.

— Та-ак... Три наряда вне очереди.

— Есть три наряда вне очереди, — привычной скороговоркой выпалил Пушкин. — Разрешите идти?

— Идите, рядовой Пушкин, — комроты с таким презрением выцедил эти слова, что, наверное, легче было бы выполнить еще три внеочередных наряда, чем их услышать.

И вот сейчас рядовой Пушкин, уверенный в своей правоте, смешной и немного жалкий, лежит, уткнувшись противогазной маской в добела вымытую половицу.

Сашка Латунцев щекочет ему пятки. Пушкин дрыгает ногой, поводит головой и под глухой стонущий смех товарищей неловко поднимается с пола. И кажется, что даже стекла его противогазных очков выражают недоумение по поводу случившегося.

Спать в противогазе — все равно, что с плотно зажатым чьей-то потной рукой ртом. Может, накрыться с головой да снять маску? А вдруг проверка?.. Достают носовой платок, свертывают жгутиком и жгутик этот затискиваю под маску чуть пониже левого уха. Дышать сразу становится легче. Повертываюсь на правый бок и тут же засыпаю.

И снится мне — лежу я будто во мхах и окружает меня отряд фашистов. А в руках у них не автоматы, а блестящие круглые шары, какие мы в новогодний праздник на

елки вешаем. Несут они эти шары перед собой и смеются. Ага, думаю, — газовые бомбы. Ну, да этим меня не возьмешь. С фашистов глаз не свожу, шарю рукой по левому боку, ищу противогазную сумку. А ее будто ветром сдуло. Ни на мне, ни около — нет сумки. Фашисты, видимо, заметили это, заржали, как застоялые жеребцы, и стали кидать в меня бомбами. Все мхи, каждую кочку обволок непроницаемый туман, разъедающий легкие. Еще мгновение — и мне конец...

Просыпаюсь в холодном поту и не могу понять: то ли это во сне было, то ли на самом деле. Дышать невозможно, спальня в густом тумане, сквозь который тускло высвечивается лампочка под потолком да размытые контуры коек. Догадываюсь вытянуть жгутик. Противогазная маска плотно прилипает к коже. Снова начинает одолевать сон.

— Подъем! Боевая тревога!

Ну, тут раздумывать некогда. Через три минуты надо стоять в строю. Надеть гимнастерку, не снимая противогаза — не очень сложно. Труднее с обмотками. Сумка сползает, гофрированный шланг выпячивается, мельтешит перед глазами, мешает перехватывать скрученную рулетом обмотку. Но все обходится. Остается выхватить из пирамиды винтовку, пробежать метров двадцать по коридору, скатиться с высокого крыльца и занять свое место в строю.

Слева от крыльца, лицом к роте, стоят, опустив головы, шесть человек. Босые, в одном нижнем белье и противогазах, они похожи на уморительные карикатуры. Пушкин, разумеется, возглавляет шестерку. Мы трясемся от смеха, потревоженного сна и знобкого ночного холода.

Оказалось, у этих шестерых не хватило сообразительности продумать с противогазами более простейшую операцию, и они либо вытащили предохранительные клапаны, либо поотвинтили патрубки. А когда комроты зажег дымовую шашку, они, задохнувшись и не сумев быстро наладить противогаз, повыскакивали в коридор, где их уже поджидал ротный.

— Смирно!.. Направо равняйся!.. У кого там винтовка прыгает? Вольно... Противогазы снять!..

— Ну, субчики-голубчики!

Это обращение уже не к нам, это к тем, шестерым. Командир роты, невысокий, худой и быстрый, окидывает каждого из них звательным взглядом.

— Хороши. Ну, прямо-таки красавцы, хоть фотографа зови да девчатом на память... А если враг? Так, в подштанниках и

встретите? Думаете, он от одного вашего вида дратья начнет? Позор! Для всей части позор! Пять нарядов каждому! Привести себя в порядок! Даю две с половиной минуты. Марш! — и ротный вытягивает из брючного кармашка большие мозеровские часы с крышкой.

«Не знаю, как это им удастся, но через две с половиной минуты вся шестерка стоит в общем строю.

— Пр-равое плечо вперед... Ш-шшагом арш!..

И пошагали.

Куда, зачем? — никто из нас не знает. Впереди — ротный с планшеткой на боку.

Гулко топая по улицам поселка, разбродно переходим длинный деревянный мост, а дальше — вольным шагом по лесной наезженной просеке. Одному тут было бы жутковато. Серая, с недавно народившейся лунной ночью только подчеркивает непроглядную черноту леса. В лесу эхом отдаются наши шаги, и потому все время кажется, что нас кто-то догоняет. Тянет сыростью, пахнет смолой и болотом.

Сначала идем бодро, разгонисто, с шуточками и подковырочками, потом ноги начинают тяжелеть, винтовка непомерно давит на плечо, а скатанная шинель стягивает грудь и спину. Все меньше разговоров, все неровнее шаг.

— Ро-ота, стой!.. Перекур десять минут.

— С дремотой?

— Отставить шуточки!

Мы ложимся на обочину, стараясь повысить задрав ноги. Трава сухая еще, не росная. Ротный расхаживает себе, будто и не оставил позади десяток километров; будто только что встал с постели и разминается. А ведь он не спал сегодня ни минуты.

— Во, жила! — восхищается Латунцев. — Форс давит или взаправду не умаялся?

— Боевой дух поднимает, — отвечаю.

Незадачливая шестерка во главе с Пушкиным отходит подальше от всех, разувается, поохивая. Торопясь, они по чьему-то неразумному наущению надели ботинки на босу ногу, а портянки сунули в карманы. Теперь у них вздулись волдыри, и портянки вряд ли помогут.

— Встать! Стройся!

Неужели десять минут прошло? Ох, как не хочется подниматься с потеплевшей под спиной земли!

— Ш-шагом арш!

Мы отлично знаем, что на фронте нам придется делать и не такие переходы и, возможно, безо всяких перекуров, да еще рискуя нарваться на вражескую засаду или попасть под бомбежку, но такие вот тре-

нажи, вроде сегодняшнего, кажутся нам зряшными, потому что фронт далеко и не-мец далеко тоже, и куда полезнее, на наш взгляд, было бы дать нам хорошенько выспаться.

Нас гложет зависть к Феде Котову, полному добродушному парню из Холмогор. Он великолепно спит на ходу. Ни с ноги не собьется, ни в сторону не свернет. А глаза закрыты, и на лице разлито сонное блаженство. Котов говорит, что даже сны видит, но этому мы почему-то никак не можем поверить.

После третьего привала — поворот на сто восемьдесят градусов. Силы на исходе. Злополучная шестерка, стена и охая, плетется где-то в хвосте. Даже ротный заметен приустал. Он по-прежнему ровным заученным шагом идет впереди колонны, но в поступи его уже нет прежней лихости.

Начинает светать. Солнце встает из-за спины. Мы догоняем собственные тени, смешные и необъяснимо длинные. Тянет ветерком-свежаком, настоящим на запахах прснувшегося хвойного леса.

— Запевай!

Сосед справа толкает меня локтем: давай, дескать, чего там! Но я молчу. Если бы не ротой — взводом — шли, дело другое, тут уж не отвертишься: хоть бог меня музыкальным слухом не наградил, но горлом не обидел, и потому выпало мне во взводе быть запевалялой. А сейчас я скромненько ожидаю, когда затянет песню кто-нибудь из другого взвода.

Рота по-прежнему идет молча.

— Морозов, запевай!

Что поделаешь — дисциплина есть дисциплина. Я подбираюсь, захватываю полную грудь воздуха и, подравняв шаг, во всю силу легких гаркаю:

До свиданья, города и хаты,
Нас дорога дальняя зовет...

Колонна сначала несмело, а потом все бсйчее и громче подхватывает:

Молодые смелые ребята,
На заре уходим мы в поход.

И словно не было позади нелегкого похода, словно вышли мы на парад и четко и слаженно проходим мимо трибун, с которых приветствуют нас большие военачальники.

Дорога круто поворачивает к поселку. Солнце оказывается сбоку. Оно уже начинает припекасть, обещая знойный день. За мостом нас встречает духовой оркестр. Ну,

это уж вовсе здорово! Строевым, под восторженными взглядами бегущих рядом поселковых ребятишек, мы проходим в часть и только когда ротный командует: «Разойдись!» чувствуем, как на плечи ложится валяющая с ног усталость.

НА ФРОНТЕ БЕЗ ПЕРЕМЕН

Мы никак не можем примириться с ежедневно внушаемой нам мыслью, что практика неразрывно связана с теорией и одно без другого — ничто. Разве от того, что я не буду знать, сколько весит опорная плита восьмидесятидвухмиллиметрового миномета, который мы изучаем, я буду хуже стрелять?

Взводный утверждает: «Да, хуже».

Спорить со взводным не позволяет устав.

Пушкин, не успевший очухаться после «противогазных» нарядов, готовится схлопотать новый. Прикрыв ладонью глаза, — метод старый и хорошо знакомый всем преподавателям, — он спит самым настоящим образом. Челюсть отвалилась, губа отвисла, и по ней скатывается к подбородку слюна.

— Механизм грубого горизонтирования, — втемяшивает в наши головы взводный, — предназначен для быстрой установки вертлюга на глаз примерно в горизонтальное положение.

Окна в учебной аудитории распахнуты настезь. Иначе задохнешься от резкого запаха ваксы, которой мы ежеутренне начищаем, а точнее — смазываем ботинки. С плаца доносятся глухие команды. Там занимается строевой подготовкой третий взвод. Вот им сейчас действительно жарко. У нас строевая сегодня была с утра, по холодку.

Под окном возятся в пыли воробьи. Говорят, пыль дает им такую же прохладу, как человеку вода. Правда или нет? Эх, искупаться бы!

— ...передвинуть зажимную втулку вверх или вниз по дуноге. Понятно?

Ни черта не понятно. Почему вверх или вниз? Уж что-нибудь бы одно — или вверх, или вниз...

Я, кажется, балдею.

Взводный, закончив очередную тираду, пылливо оглядывает аудиторию. Я смотрю ему прямо в глаза. Помогает — взводный отводит взгляд и останавливает его на Пушкине.

— Рядовой Пушкин!.. Для чего предназначен механизм грубого горизонтирования?

Пушкину сейчас можно задать вопрос из любой отрасли военной или иной науки и на любом языке — результат был бы одинаков. Он слглатывает слюну и пытается что-то промычать.

— Для установки вертлюга... — слишком громко шепчет Пушкину кто-то.

— Отставить подкаски! Садитесь, рядовой Пушкин... Ночью спать надо.

Даст наряд или нет?

Нет, проскочило. Пожалел взводный на этот раз Пушкина.

У взводного под глазами синие круги. Наверное, от бессонницы. Ребята слышали, что он несколько раз подавал заявления с просьбой снова отправить на фронт, но получал отказ за отказом.

А на фронте все перемен. После январско-мартовского наступления Совинформбюро каждое новое свое сообщение начинало со слов: «В течение такого-то дня на фронтах существенных изменений не произошло».

Красные флажочки на большой карте страны в Ленинской комнате словно повяли: к ним давно уже не прикасается рука замполита, человека с желтым, измученным какой-то внутренней болезнью лицом. Изредка сообщается о серьезных боях в районе северо-восточнее Новороссийска, но заметных успехов достигнуть, видимо, не удается.

Мы же учимся разбирать и собирать винтовку, миномет, маршируем, прыгаем, колем штыком фашины-щиты, сплетенные из березовых веток... Сегодня взводный объявляет наконец, что идем на стрельбище.

Стреляем лежа, с упора, по бумажным мишеням. Два патрона на пристрелку, три — в зачет. Пушкин все пять посылает «в молоко» и к тому же набивает плечо. Он наверняка проспал занятия, на которых говорилось о сильной отдаче боевой винтовки при выстреле.

Мой результат лучший. Впрочем, для меня это не сюрприз. Еще в школе я сдал нормы на значок «Ворошиловский стрелок». Настоящий сюрприз ожидает меня по возвращении со стрельбища.

У ворот проходной я вижу своего одноклассника Гришу Терешина. Он обрадованно взмахивает руками, показывает жестом, что ждет меня здесь. А я-то подумал спервоначалу, что Гриша к кому другому пришел. Ведь мы с ним не только не дружили, но и не ходили даже в товарищах.

Терешин небольшого, мне по грудь, роста, стеснительный и замкнутый. Он никогда не принимал участия в ребячьих свалках, не баловался табаком, не писал девчонкам

записок и, несмотря на свой рост, сидел всегда на последней парте. На комсомольских и классных собраниях не выступал, учился на троечки и его как-то не замечали, будто его и не было вовсе. И, казалось, он даже радовался этому.

Лицо его, круглое, как колобок, даже зимой было покрыто веснушками, а по весне оно превращалось в одну коричневую солнечную веснушку с маленькими, в узких щелочках, глазами и носом — картошкой. Стригся он под ежик и оттого еще больше напоминал неизвестно каким образом попавшего в наш класс малыша.

— Здравствуй, Терешин, — я первым протягиваю ему руку.

Он смотрит на меня восхищенным и в то же время виноватым взглядом, словно извиняется за то, что стоит передо мной не в военной форме, а в изрядно потертом сером костюмчике из хлопчатки, постиранном и выглаженном, видимо, специально для этого случая.

— А меня в армию не взяли, — грустно вздыхает он. — По росту не подошел. Доказывал, что маленькому легче и подкрасться, и спрятаться, — ни в какую.

— Ничего, в тылу тоже рабочие руки нужны. Без хорошо обеспеченного тыла и армии делать нечего, — внушительно, почти как замполит, говорю я, чтобы подбодрить обиженного судьбой Терешина.

— Это я понимаю. А все равно обидно, — он завистливо смотрит на почти опустевшую сейчас учебную площадку, на которой один из проштрафившихся бойцов усердно, по всем правилам военного искусства колет фашину. — А туда мне можно пройти?

— Надо разрешение спросить.

— Спроси, пожалуйста, — умоляюще произносит Терешин.

Взводный подозрительно смотрит на меня, пока я вру ему, что Гриша — мой двоюродный брат, что живет он за полтора километра и приехал специально навестить меня. Всем своим видом показав, что он ни на грош не верит столь убедительным доводам, взводный все же говорит:

— Ладно, пусть пройдет. Тридцать минут, не больше.

Терешин останавливается возле дощатых, трехметровой высоты барьеров, через которые мы перемахиваем в полной боевой выкладке, у водяных рвов шириной метров в пять, смеется над моим рассказом, как после очередного перепрыгивания дватри человека обязательно срываются и барахтаются в воде, пока им не бросят спасительную веревку.

— Я бы тоже не перепрыгнул, — говорит Терешин.

Он облюбовывает окопчик, садится на край и протягивает мне сверток, который все время держал под мышкой.

— Это тебе.

Я развертываю газету. В ней — целенькая, килограмма на полтора, булка ржаного хлеба и высокая банка американских консервов. Впридачу ко всему, а уж этого никак ожидать нельзя было, тем более от Терешина, он, предварительно оглянувшись по сторонам, вытягивает из пазуховой кармана четвертинку с белой головкой.

Я ошалело гляжу на все это и вместо благодарности почему-то брякаю:

— Поминки решил устроить?

Гриша поднимает глаза. В них боль и упрек.

— Извини, — говорю я, — пошутил по привычке. Просто... Просто я давно не видел такого богатства. Откуда?

— Понимаешь, — заторопился он, боясь, видимо, что я отвергну этот поистине царский подарок, — мне здорово повезло. Я устроился грузчиком на продуктовый склад. Ну, что ты на меня так смотришь? Не веришь? Или думаешь, украл?.. Нет, Морозов, это я честно заработал, клянусь. Мы двое суток не спали, надо было срочно разгрузить американский пароход, такие ящики таскали — спина трещала. Зато кормили — вот так! — Гриша шаркает ладонью по горлу. — Я три дня хлеб по карточке не выкупал. Сегодня вот только выкупил. И вообще у меня жратвы хватает. Я и домой принес, не думай, что все тебе. Это так только, вроде добавки к твоему пайку.

«Добавка» эта стоит на рынке рублей девятьсот, если не больше. Только за хлеб и консервы Терешин может выменять новенький костюм или часы. Я чувствую, что он чего-то не договаривает, что своей скороговоркой он пытается скрыть что-то более существенное. Но что?..

— Ешь, — говорит он.

— А ты?

— Я не хочу. Честное слово.

Я могу запросто слупить и консервы, и хлеб, — ну, не весь, а уж половину точно, — но отламываю и съезываю только хрустящую запашистую корочку. Остальное завертываю в газету.

— Потом, с ребятами. Не возражаешь?

— Ну, что ты!

Я пытаюсь уговорить Терешина забрать обратно хоть четвертинку — не положено нам выпивать, за это так вздрючат, что греха не оберешься и простым рядом не отделаешься. Но Терешин неумолим.

Терешин рассказывает о выпускных экзаменах, о ребятах, но почему-то ни слова не говорит о Вале. А мне о ней-то больше всего и хотелось услышать. И кого другого я спросил бы о ней, но Терешина мне почему-то неудобно.

Распростившись, Терешин не идет сразу домой. Он стоит за воротами до вечерней нашей поверки. Потом в сумерках машет рукой в пространство и плетется к трамвайной остановке. Я же, глядя ему вслед, посылаю тысячи чертей в адрес той медицинской комиссии, которая освободила его от несения военной службы.

ВАЛЯ

Я думаю о ней всегда, когда солдату выпадает редкая минута поразмышлять о своем, личном, не касающемся службы.

Случилось так, что после седьмого класса мне пришлось пойти учиться в другую школу. Признаться, это не очень приятно: новые учителя, новые товарищи. Как-то встретят, как-то ты им придется по сердцу?.. Естественно, я очень волновался, пришел в школу рано, отыскал восьмой «а», отворил дверь и увидел... ее.

Она сидела на подоконнике. Светившее в окно солнце очертило ее силуэт. Длинные волосы ниспадали на плечи. Профиль был словно выточен гениальным скульптором.

Заслышав мои шаги, она встрепетнулась, прыгнула на пол, удивленно глянула на меня.

— Это восьмой «а»? — пролепетал я, почувствовав, как начинают полыхать уши.

— Да. А вы — новенький? — сказала она и тоже почему-то покраснела.

Теперь я знаю почему. Пусть говорят, что хотят, доказывают, приводят какие угодно примеры, я утверждаю — любовь с первого взгляда существует. И не только существует, а может быть, эта-то самая любовь и есть та единственная, неповторимая, настоящая, память о которой не покидает человека всю жизнь.

Мы ходили с ней в театр, в кино, на каток и на танцы. Она приходила ко мне домой, и мы вместе решали задачи по тригонометрии. Потом я провожал ее. По дороге спорили, острили, болтали о чем угодно и только одна тема была для нас как бы под запретом. Мы ни разу не обмолвились о своей любви. Да это, пожалуй, было ни к чему. Мы без слов понимали друг друга. И, видно, настолько отношения наши были чисты и светлы, что даже одноклассники не подсмеивались над нами.

Впервые я поцеловал Валу уже в деся-

том классе. Мы ехали в переполненном трамвае с танцевального вечера. Кончался сорок второй год, голодный, безрадостный, и чтоб хоть как-то забыть о пустом и тоскующем желудке, скрасить сумеречное существование, мы почти каждый вечер ходили на танцы.

Света в трамвае не было. Но за полтора года войны мы так свыклись со светомаскировкой и неосвещенными улицами, что стали, кажется, видеть в темноте не хуже кошек. К тому же северные ночи никогда не бывают густо-черными.

Стоя на задней площадке холодного и гремящего трамвая, я довольно хорошо различал лица людей. Что же до Вали, то матово-бледное, утомленное лицо ее я мог видеть и с закрытыми глазами.

На повороте трамвай сильно качнуло. Валя со смехом, как бывало не раз, прижалась ко мне, а я, повинувшись только внезапно нахлынувшему желанию, легко чмокнул ее в заиндевшую щеку. И — будь что будет! — поцеловал тут же еще раз.

— Не нуду меня провозжать. Я сама, — тихо, не допускаящим возражения тоном и потупив глаза, сказала она, когда мы сошли на остановке.

Я не спал ночь, пытаюсь представить, как заявлюсь завтра в класс, какими глазами посмотрю на Валу, как заговорю с ней. И тут же пытался уверить себя, что не могла Валя обидеться и не может быть, чтобы она не ждала от меня поцелуя. Мучился я еще потому, что понимал, что отношения наши не могут быть прежними, ведь мы перешагнули прежде запретную грань...

Говорят, для влюбленных зимой расцветают розы, по-летнему греет солнце, прохжие кажутся добрыми и приветливыми, а самому хочется петь и смеяться.

Не знаю, может, для кого бывало и так, мне же в тот утренний час, когда я спешил, опаздывая, в школу, все выделось в криком зеркале. Роз не было, солнца тоже. Свирепый мороз обжигал лицо. При взгляде на чужих, незнакомых людей думалось, что они все знают. Я стыдливо опустил голову. На душе было тревожно.

С Валею мы столкнулись в вестибюле, около раздевалки. Она посмотрела на меня, и в глазах ее я прочел — нет, не прощение за вчерашнее, а нечто большее, от чего сладко замирает сердце и хочется сделать что-то, чего никто до тебя не делал. И, может, именно в то мгновение окончательно созрела мысль, что глупо и, пожалуй, преступно такому здоровяку, как я, дожидаться выпускных экзаменов, когда фашистов всюю дупят под Сталинградом.

Там настоящий экзамен на зрелость, а не здесь, в не по-военному теплых классах.

На неделе я сказал о своем решении Вале.

— А как же я? — спросила она.

— Ты будешь меня ждать.

— Буду, милый, — прошептала она, помолчав.

Валя впервые назвала меня так.

Она провожала меня и обещала навещать. Где же твоё обещание, Валуша? Ну, не можешь приехать — хоть бы весточку подала. Или ты забыла меня, выкинула из девичьей своей памяти?

И вдруг:

— Морозов! На выход!

В казарме — свободный час. Впрочем, это самый загруженный час. За это время нужно успеть пришить оторванную пуговицу, остричь ногти, сменить воротничок, написать письмо, да мало ли еще всяких неотложных дел!

Я никого не жду, но голос дневального почему-то заставляет встрепенуться и подумать о Вале. Я как бы ощущаю ее присутствие, улавливаю тонкий запах ее волос, вытеснивший резкие и грубые запахи ваксы и пота, которыми пропитана казарма. И, потуже затягивая ремень, поправляя пилотку, я уже ни на секунду не сомневаюсь, что это она.

Под завистливыми взглядами солдат мы проходим с ней через плац и выходим к мхам. Валя осунулась, побледнела.

— Я некрасивая стала, да?

— Что ты! Да красивей тебя во всем мире нет! Видела, как ребята на тебя смотрели?

— Они на всех девушек так смотрят.

— Нет, не на всех.

— Не лъсти. Были трудные экзамены — ты же знаешь, как я плаваю в тригонометрии. А потом тяжело заболела мама. Я почти не отходила от нее. Поэтому и не могла приехать к тебе раньше. Извини.

— Ну, что ты!

— А тебя навещал кто-нибудь? — в ее голосе сквозит явная заинтересованность.

— Ага. И ни за что не догадаешься кто. Ну?

Валя пожимает плечами.

— Терешин! — восклицаю я. — Гришка Терешин! Он принес хлеба, консервы и водку.

— Водку? — удивленно поднимает брови Валя.

— Ну да, четвертиночку. Не понимаю, чего ему вздумалось. Ты же знаешь — мы с ним...

— Всех мальчишек взяли в армию, — перебивает Валя. — Только он и Журавлев

остались. У Журавлева с глазами совсем плохо стало после экзаменов. Говорят, новые очки надо. А попробуй достань их сейчас...

— Ты их встречаешь?

— Кого?

— Журавлева и Терешина.

— Н-нет, давно не встречала. Девочки рассказывали.

Вечер светел и тих. От неоглядной дали зеленеющих мхов с редким и невысоким кустарничком тянет прохладой. Под ногами рассыпалась крупными горошинами зеленая еще клюква.

Я приволакиваю доску, кладу ее меж двумя высокими и сухими кочками. Мы садимся рядышком, как сживали раньше на скамейке возле домика, где жила Валя.

— Тебе идет военная форма, — говорит она.

— Как козлу ряса.

— Нет, правда. У тебя и лицо изменилось, стало мужественнее. А, может, ты просто повзрослел.

— За два-то месяца!

— Бывает, и за два месяца, — вздыхает Валя.

Я беру ее руку. Всегда чистые, белые, разве чуть испачканные чернилами, тонкие пальцы усеяны малюсенькими черными точечками.

— Что это?

— Веснушки, — улыбается она.

— Да ну тебя, я же серьезно спрашиваю.

— А серьезно — металл. Я ведь на заводе работаю, вторая неделя пошла.

— И что делаешь?

— Мины к твоим минометам. Учусь на токаря.

Не знаю, что отразилось на моем лице, но Валя рассмеялась. А я никак не могу представить себе, как она, тоненькая и хрупкая, стоит у станка и вытачивает корпуса мин.

— Это же очень тяжело.

— Сейчас всем тяжело, — просто говорит она.

Мы долго молчим. И не потому, что нечего сказать: каждый из нас думает о том, о чем не хочется говорить вслух.

— Когда ты уходишь на фронт? — спрашивает, наконец, Валя.

— Не знаю.

— Я приду тебя провожать. Только ты извести меня.

— Обязательно.

Тягучий металлический звук раздается за спиной и плывет над мхами.

— Мне пора, — говорю я, вставая.

Валя безмолвно поднимается следом.

— Я боюсь за тебя, — она прижимается ко мне головой.

— Ерунда. За меня нечего бояться. Меня не убьют. Потому не убьют, что я очень люблю тебя.

— И потому что я тебя очень люблю. Очень, — она подносит мою руку к своим губам...

После отбоя я засыпаю не сразу. Смутная вначале догадка постепенно зреет, обращаясь в уверенность. Я вижу Валину руку с белой, не тронутой загаром, полоской кожи чуть выше запястья. Я не спросил, почему она пришла без часов, просто неловко было об этом спрашивать. Теперь я знаю почему. У нее уже нет их, маленьких, с трехкопеечную монету, часиков, единственных на весь класс. Она знала, что я не приму от нее столь дорогого подарка и потому уговорила Гришу отнести мне хлеб и консервы. А версию о разгрузке американского парохода они разработали вместе. Четвертинку Терешин добавил уже от себя, Валя и удивилась, когда я сказал ей об этом. Был бы я на гражданке, я бы сейчас вскочил, побежал к ней и стал бы выговаривать за этот неблагодарный поступок. А почему — неблагодарный? Ведь это уже не просто. Ведь это уже как муж и жена...

«БОЛЬШИЕ» МАНЕВРЫ

Пятого июля Совинформбюро сообщило о начале боев на Орловско-Курском и Белгородском направлениях. Пятого августа Орел и Белгород были освобождены от врага. Одновременно разворачивались бои в Донбассе, в районе юго-западнее Ворошиловграда, где наши войска успешно отбивали атаки крупных сил пехоты и танков противника с большими для него потерями.

Замполит повеселел. У нас тоже поднялось настроение. А тут еще объявили маневры — учения всей части, максимально приближенные к боевой обстановке.

Мы обладаем достаточным воображением, чтобы представить, как где-то там, за густой полосой леса, притаился «враг», и мы должны его выбить и уничтожить.

Мы роем окопы, спим на голой земле, едим кашу из походной кухни, и в вещмешках у нас настоящее «ИЗ» — четыре больших сухаря, банка консервов, две пачки горохового концентрата, сахар. Съесть это можно только при самых чрезвычайных обстоятельствах. Пушкина эти обстоятельства волнуют больше всего.

Нашим расчетом командует сержант Кли-

мов. Я — заряжающий. При переходах или смене огневых позиций я таскаю двуногу-лафет и банник для чистки ствола миномета. Двунога кажется мне беспредельно тяжелой, хотя я никак не могу вспомнить, каков ее вес. Впрочем, это действительно не так уж важно.

Расчету дано задание пройти незамеченным в западном направлении около километра, свернуть от стоящей где-то там березы с обглоданной зайцами корой вправо, выйти на опушку, окруженную молодым ельником, и открыть огонь по «врагу», что занял оборону за разрушенной избой.

Взводный засекает время, и мы, навьючивая за спины части миномета, двигаемся по заданному направлению. Ни тропы, ни дороги — идем напрямик. Не проходим и двухсот метров — к сержанту Климову подбегает связной, что-то на ходу говорит. Климов останавливается, оборачивается к нам:

— Я убит, — и отходит в сторону.

— Чем? — наивно спрашивает Котов.

Сержант со значением крутит пальцем около виска.

Заменить Климова на правах наводчика должен бы Саша Латунцев, но он почему-то растерянно смотрит на меня, словно умоляет выручить. И я выхожу вперед:

— Обязанности командира расчета беру на себя.

Сказанного не вернешь. Климов и связной уходят. Я стою, сомневаясь, не много ли взял на себя, не засмеют ли ребята, послушают ли мою команду. Ведь как хорошо было идти след в след за Латунцевым. И случись такое на фронте — я теперь отвечаю за жизнь каждого человека из расчета и, в первую очередь, отвечаю за выполнение задания. Да, хорошо трепаться, что сержантам не жизнь, а малина — командуй себе! — а вот как в их шкуре окажешься, все в другом свете видится.

— За мной! — резко, подражая Климову, командую я.

Ребята послушно шагают следом. Теперь главное — не растеряться, не показать, что я боюсь ошибиться, завести их не туда, куда следует, и я уверенно, словно сто раз ходил здесь, веду расчет к неизвестной березе.

Впереди — просвет. Что там, опушка? Болото? Оказывается, — хуже: высокая железнодородная насыпь. Хоть бы намекнул о ней взводный. И насыпь наверняка «протреливается». Преодолеть ее нужно только рывком.

За насыпью — чего уж никак нельзя было ожидать — канава метра в два с поло-

виной шириной, залитая болотной жижицей. Мелка, глубока ли — раздумывать некогда. Знать бы — разбег взял, а так... отталкиваюсь что есть силы от осыпающегося под ногами гравия, двунога прижимает к земле, каких-то полметра не допрыгиваю и... увязно чуть не по пояса, разодрав к тому же ладонь об острый сук попавшейся под руку коряжины. Латунцев и снарядный просто перебегают канаву, а этот болван Котов мечется по насыпи с лотком мин за спиной.

— Ложись! — кричу.

Котов падает. Уходят дорогие секунды. Хорошо, никто нас не видит. А, может, и видят, да не хотят оставлять расчет еще и без подносчика.

Котов неловко, выпучив глаза, переползает рельс, съезжает на заднице вниз и поджимает ноги: как бы не замочить.

— Прыгай! Быстро!

Котов растопыривает руки и прыгает по лягушечьи, шлепнувшись животом о мягкую мшистую кочку и обдав нас густыми брызгами.

Наверстывая упущенное, мы почти бежим. Котов постанывает, просит обождать: у него, кажется, разматалась обмотка, но ждать некогда. Вперед! Только вперед!

Где же эта злосчастная береза с обглоданной зайцами корой? Уж не сбился ли с заданного направления? Сверяюсь по солнцу. Вроде бы идем правильно. Просто, наверное, от волнения слишком длинными кажутся оставленные позади метры.

Приглядываюсь к каждой березе на пути. Все они кажутся обглоданными у комля. Может, эта, большая и одинокая, видная отовсюду? Подхожу — точно! Обрыв коры еще свеж, не успел потемнеть. Так, теперь — вправо. Ага, вот и опушка. Полный порядок. Пока ребята устанавливают миномет, я по-пластунски ползу к кромке леса, нахожу глазами стоящую на взгорке разваленную наполовину избу, определяю расстояние, прицел, вспоминаю порядок отдачи команды:

— По избе, осколочным, заряд основной, угломер четыре-ноль, наводить на высокую ель, прицел семь-двадцать, одной миной... — Огонь!

Слежу за полетом мины. Кажется, ничего. Жалко, что мина холостая, без взрывателя — точнее можно было бы определить попадание. Поправляю прицел. Огонь! Вторая, а затем третья мины летят к избе. Все!

— Миномет на выюки!

И тут только я замечаю взводного и Климова. Они сидят, притаившись в ельничке, тихо о чем-то переговариваются.

Взводный смотрит на часы, выходит из ельника, объявляет «перекур» и поздравляет с успешным выполнением задания. Мы цвем. Я даже забываю о саднящей боли в ладони.

Закурив, Котов толкает меня в бок.

— Слышь, Морозов...

— Чего тебе?

— Так зайцы ж березу не глодают. Они осиную кору любят.

— Ну и что?

— А взводный, тюлень, не знает.

Выходит, я тоже тюлень, раз не знаю, что зайцы предпочитают сладкому и пьянящему березовому соку непомерную горечь осиновой коры.

— Прикажут — будешь и тюленя на дереве искать, — говорю я. — И нечего командирские приказы обсуждать. Ясно?

Котов не отвечает. Прикрыл глаза и притворяется, что не слышит.

ПАМЯТНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ

Скоро на фронт.

Никто нам об этом не говорит, но по всему чувствуется, что день этот близок. Уже не очень-то гоняют на строевой, увеличилось часы политзанятий, подлиннее стали перекуры, меньше раздаются внеочередные наряды. И Вася Пушкин повеселел, подтянулся и выглядит вполне бравым солдатом.

Мне давно хотелось побывать дома, ну, хотя бы денек, хотя бы несколько часов, ведь езды до города каких-то сорок минут трамваем. И вот после учений, когда сам командир полка вынес мне перед всем строем благодарность, я по всем правилам обращаюсь к сержанту Климову с просьбой об увольнительной. Климов посылает меня к взводному, взводный — к ротному, а ротный — ко всем чертям. Дескать, не успел порохо понюхать, а уже по маме-папенье соскучился. Мне обидно слышать это. Вовсе не соскучился, просто, если говорить честно, хочется пройтись в военной форме по городу, заглянуть в школу, в соседние дворы, где меня знают все, от первоклассника Мишатки Агапова до злой бабки Артемьихи, у которой мы не раз вышибали мячом стекла. Кто знает, каким я вернусь сюда с фронта, да и вернусь ли...

«Чтоб тебе ни дня самому не бывать дома», — говорю я мысленно ротному, козыряю и выхожу на плац. Смотрю — быстро идет к штабу командир части. Догоняю, прошу разрешения обратиться. Так и так,

говорю, бабушка при смерти, сестренка хворает, еще что-то наплел, вот бы домой хоть на денек. Капитан пронзительно так смотрит на меня и говорит, чтоб в восемнадцать ноль-ноль пришел к нему в штаб.

Заявляюсь. Стою, вытянувшись в струнку. А комбат уж, видимо, забыл о нашей встрече, снова спрашивает, в чем дело. Ну, я снова ему про бабушку и сестренку, хотя бабушка умерла еще пять лет назад, а сестренка на свет не родилась.

— Та-ак... — тянет комбат. — Хорошо...

Берет лист бумаги, пишет на нем что-то, запечатывает в конверт:

— Передай командиру роты.

— Есть передать командиру роты. Разрешите идти?

Бегу в казарму, не чуя под собой ног от радости. Вручаю ротному пакет: так и так, из штаба батальона, велено передать вам лично. Хорошо, говорит, идите. Выхожу, но держусь поблизости — я-то знаю, о чем в том пакете речь.

Не проходит и минуты, выскакивает ротный писарь Славка Суконцев:

— Морозов! К командиру роты!

Влетаю, как за увольнительной.

Ротный стоит лицом к двери, руки за спину, глаза прищурены, верхняя губа дрогнется.

— Воинского устава, рядовой Морозов, не знаете? Кто вам дал право обращаться в штаб? Я вам разрешал? Мальчишка! Вы не в школе, а в рядах самой дисциплинированной в мире Советской Армии...

Стою, хлопаю ушами, пытаюсь сообразить, за что же такой разгон. Наконец, доходит. По уставу не положено подавать рапорт старшему военачальнику без разрешения нижестоящего. Я это, разумеется, знал, но не придавал особого значения строгой воинской формуле. Так вот, значит, о чем написал комбат ротному. Не помогла, выходит, бабушка с внучкой.

— Доложите старшине, что я даю вам сегодня наряд вне очереди.

И это после полковничьей благодарности! — Есть доложить старшине — наряд вне очереди!

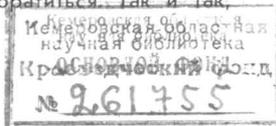
Лучше так, не оправдываясь, а то и еще один заработаешь.

Как только заканчивается вечерняя поверка, я ухитряюсь обогнать длинноногого Пушкина и из-под самого его носа выхватить ведро и последнюю швабру.

«Привет, Вася Пушкин!».

Но теперь я уже не надеюсь прогуляться по архангельским улицам.

А накануне второго августовского вос- 17



кресенья вызывает меня к себе старшина, выдает сапоги и говорит, что мне предстоит завтра отвезти обед командиру части, который находится сейчас в Архангельске. Получаю подписанную, кстати, ротным увольнительную с семи утра до шести вечера, до блеска начищаю сапоги и утром, наскоро проглотив завтрак и взяв у повара горячие трехэтажные судки для полковника, мчусь к трамваю.

Слегка притуманенное утро тепло и мягко очерчивает окружающее пространство. Трамвай весело погромыхивает и дребезжит стеклами. Кажется, что сто лет я не ездил в трамвае. Кондукторша, симпатичная старушенция, позвякивает медяками, объявляет остановки тоненьким голоском. И все было бы совсем великолепно, если б не эти судки в левой руке. Я стою на задней площадке вагона, и всяк входящий глядит на эти судки, словно я украл их. От судков, забывая все остальные трамвайные запахи, исходит сытный мясной аромат.

Ровно в девять, отыскиваю квартиру полковника, вручаю судки не то жене, не то домработнице, пообещав вернуться за ними в пятнадцать тридцать.

А теперь, разумеется, в первую очередь домой. У меня впереди целых шесть с половиной часов полной свободы. Вышагиваю по тротуару легко и четко. Иногда только, забыв, что на ногах сапоги, а не ботинки, с привычными обмотками, бросаю вниз быстрый взгляд — не сползли бы, не размотались.

— Товарищ боец! Документы!

Патруль выныривает неизвестно откуда. Достану увольнительную, красноармейскую книжку, комсомольский билет. Читают внимательно, сверяют личность на фотокарточке с подлинной.

— Можете идти.

Иду.

У сворота в родную улицу навстречу молоденький офицерик. На нем новенькая форма с блестящими погонами. С ним — девчонка. Лицо как будто знакомое. Козыряю, оглядываюсь, улыбнувшись. Офицерик подзывает небрежным жестом к себе.

— Как приветствуете?! Кругом!..

Прохожу строевым, равнение налево, лицо строгое, глаза «едят», локоть уставно согнут, ладонь вытянута — не придерешься.

— Кру-угом!..

Три раза прогонял службист, не дав даже как следует взглянуть на девчонку. А она, кажется, смеялась.

Небо стало с овчинку.

Нагулялся, напоказывался...

Ну, нет, с меня довольно и этого. Дома мать по моей просьбе достает школьный костюм. От него пахнет нафталином. Переодеваюсь. И всего-то ничего кажется времени прошло, как я надевал его последний раз, а рукава пиджака стали уже коротки и в плечах поджимает. Но это пустяк, модничать давно отвыкли. Зато не будут тебя останавливать на каждом шагу патрули и не придется козырять каждому старшему по званию военному. А старшие — все, кто в форме. И их очень много.

Родители обижаются, что я отказался от завтрака. Обещая наверстать в обед. В квартире нет многих вещей: граммофон, сервиз, статуэтки, книжный шкаф вместе с книгами — все ушло в деревню, в обмен на молоко и картошку, или продано с рук на волнующейся с утра до ночи толкучке. В цене только съестное, вещи же почти никого сейчас не интересуют.

Еду к Вале. На меня, в штатском, никто не обращает внимания. Кепку напялил до ушей, чтобы не видно было остриженной под машинку головы.

Валя живет на окраине. Прежде в ландшафтнике перед домом росли цветы. Сейчас, кроме узенькой тропочки от калитки к крыльцу, вся земля занята картошкой и репой. Я зову Валю, не заходя в дом. Но на мой зов выходит не она, а ее младшая сестренка Нина. С трудом узнав меня, говорит, что Валя на заводе. Почему, удивляюсь, на заводе, если сегодня воскресенье? Нина как-то пренебрежительно взглядывает на меня — неужели, дескать, не понимаешь, что идет война и ни о каких выходных днях не может быть и речи. Да-да, это вылетело у меня из головы.

На завод, где работает Валя, меня не пускают, и вызвать ее тоже отказываются. Если, мол, хочешь — жди до восьми вечера. Ага, а мне в шесть в части быть. Доказывать, что я солдат, приехавший на несколько часов, опасно — отведут еще в коммандатуру за то, что сменил военную форму на гражданскую. Топчусь с полчаса во круг высокого кирпичного завода, да так и уйду ни с чем.

Город еще хранит следы прошлогодних бомбежек. Чернеют обугленные стены лесотехнического института, зияет огромная воронка во дворе краеведческого музея, где стоит огромный английский танк времен антантовской интервенции, особенно много разрушенных зданий в районе порта.

В часть я возвращаюсь с нерадостным чувством неудовлетворенности проведенным днем. Всегда почему-то так получа-

ётся, что когда ожидаешь многого, не получишь ничего. И наоборот.

Только я вступаю на территорию воинской части, не ожидая ничего, кроме распросов товарищей, ко мне кидается сержант из второго взвода:

— Морозов?.. Где тебя черти носят? За тобой в город уже человека посылать собираются. В ленинскую комнату — бегом!.. Стой! Дай судки, сам отнесу.

Я отдаю сержанту судки и, подозревая неважное, бегу в ленинскую комнату.

В коридоре сталкиваюсь со Славкой Сукоцевым.

— Ну, вовремя! — выдыхает Славка. — Ротный за тебя старшине уже нахлобучку дал.

— Да что случилось?

— Пляши — в военную школу переводят. По одному из каждого взвода.

Час от часу не легче! Военная школа рядом, готовят в ней младший командный состав. Значит, еще три-четыре месяца муштровки? Ну, дудки!

— А если откажусь?

— Дураком на весь век останешься. Иди, тебя только и ждут, — Славка влипает ладонь в мою спину, подмигивает, и мне кажется, что он знает куда больше, но не хочет или не имеет права сказать.

Через полтора часа я стою, вытянувшись, среди незнакомых курсантов школы.

Курсанты — почти одноклассники, но что-то неуловимое делает их в моих глазах намного старше. Как-никак — будущие командиры.

Я чувствую, что и в моей жизни сейчас произойдет — или уже происходит? — что-то важное, и повернется эта жизнь в другую сторону. Хуже от того будет или лучше, это меня меньше всего волнует. Я не пойму еще — наказанием ли считать мой перевод сюда или наградой.

Начальник школы поздравляет строй с успешным окончанием и зачитывает приказ о присвоении званий. Список длинный и утомительный.

Присвоить... старшего сержанта... сержанта... сержанта... старшего сержанта...

Ну, а я-то тут при чем?!

И вдруг:

— Морозову Алексею Петровичу — звание младшего сержанта.

Неужели ослышался?

Курсанты совсем молоденькие, мальчишки совсем. Глаза, лица светятся. Как после сданного на пятерку экзамена.

Я тоже, выходит, сдал. И даже на пятерку с плюсом. Лычкой больше, лычкой меньше*
2*

ше — какая разница! Мог и ни одной не иметь.

Отец говорил: кому много дается, с того больше спросится. Верно. Согласен. Я это уже сейчас чувствую.

А потом — речь заместителя начальника школы по политической части, и в ней слова, которые я тут же высек бы золотом на мраморе:

— Завтра вы уходите на фронт... И пусть ваши минометы бьют по врагу так, чтобы...

Вот оно! Наконец-то! А как же ребята из запасного? Или только мне так здорово повезло?..

НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ, СЫНОК!

От северного неба даже в бархатном августе можно ожидать чего угодно. Бывает заволочет, засеет мелким, мелким дождем, ляжет на душу безысходной тоской. Дома, улицы, деревья — все нахмурено, пасмурно. Горожанам-то еще туда-сюда, перемогутся, а колхозникам совсем плохо: загнивает так и не успевшее просохнуть сено, начинает тянуть от него не росными запахами, а болотной прелью, и кто знает, как придется выколосившуюся уже рожь убирать. Плохо, если погода не ко времени разбалуется.

Но утро, когда за нами приходят несколько приземистых подслеповатых паровозиков, чтобы переправить на левый берег Северной Двины, где железнодорожный вокзал, не то чтобы совсем уж необыкновенное, но в общем здорово замечательное утро.

Солнце висит над далекой кромкой леса приветливым, не спящим еще шаром. В неповторимо мягкие тона, какие бывают только на Севере, окрашены обрывистые высокие берега, и трудяги-стрижи, устроившие в них свои гнезда-норы, беспрестанно снуют вдоль берега, готовя к дальним перелетам подросших птенцов.

Широкая, величавая Двина течет спокойно, неторопливо. Толстые доски пристани мокры от выпавшей ночью росы и слегка парят. Несколько худых босоногих паренков в подвернутых до колен брючишках сидят на торчащих из воды сваях и ловят самодельными удочками малюсенькую рыбку — колюшку.

Кажется, ничто не говорит о войне. Ничто, кроме того, что мы в это утро уходим на фронт.

Ребятишки, завидя нас, поднимают удочки и, пока паровоз не отчаливает, ни один из них не забрасывает крючка, хотя время

для клева самое подходящее. Они провожают нас молчаливыми, немного завистливыми взглядами.

На том берегу, где играет духовой оркестр и на железнодорожных путях стоит длинный состав из теллушек, я не надеюсь встретить ни родных, ни знакомых. И глубоко ошибаюсь. Знакомых хоть отбавляй — наша часть уходит на фронт вместе с выпускниками военной школы, а чуть вдали от площадки, на которой нас строили, перестраивали, разбивали на команды, среди порядочной разновозрастной толпы гражданских я неожиданно вижу мать и отца. Каким-то образом они прознали о нашей отправке. Слуховая почта работает куда лучше почты официальной.

А вот Велю, сколько я ни шарю глазами, не вижу. Но в этом никто из нас не виноват.

Через час-полтора, когда каждый из нас узнал свою теплушку, свою команду, нам разрешают попрощаться с родными.

Я — единственный сын у родителей и знаю, что отец многое дал бы, чтобы уйти сейчас на фронт вместо меня или хотя бы вместе со мной. Но ему за пятьдесят, и, к тому же, он страдает глухотой — в раннем детстве сельский фельдшер-коновал, копаясь в больном ухе, прорвал ему барабанную перепонку. Разговаривающего с ним человека отец понимает в основном по движению губ.

У мамы подрагивал подбородок. Она собирает всю свою волю, чтобы не заплакать: знает, что мне это будет тяжело. И, как всегда случается в тяжелые минуты расставания, говорить нам не о чем. Отец гладит мое плечо, а мама беспрестанно повторяет: «Береги себя... Береги себя...» и просит почаще писать. Я же передаю приветы тетям и дядям, — друзья в армии или училищах, — и умоляю мать не сдавать больше кровь, потому что здоровье ее стало совсем слабое и выглядит она плохо.

Отец сует в мой вещмешок несколько пачек американских сигарет, впервые признав таким образом мое право на курение. Сам он никогда не курил, но я не столько удивился этому признанию, сколько возможности достать сигареты. На рынке каждая пачка стоит пятьдесят — семьдесят рублей, а по талонам сигареты не выдают. Значит, еще какая-то дорогая сердцу вещьца уплыла из дома.

Прощание становится тягостным. У меня самого сдавливает горло противный комочек. И в тот момент, когда я подумал, что скорей бы уж что ли прозвучала команда, раздается протяжная:

— По-о ваго-о-онам!..

У мамы глаза заволакиваются трепетной пеленой. Глаз отца я не вижу — в толстых стеклах его очков играет солнце.

В детстве мы смотрели на людей, воевавших в гражданскую, как на богов. Завидев человека с орденом на груди, мы бежали за ним, обгоняли, останавливались, пропускали вперед и, когда он проходил, не скрывая зависти, снова устремлялись за ним. Нам думалось, что на нашу долю никогда не выпадет ничего подобного и жизнь проплывет, как бумажный кораблик в тихой заводи, накормит досыта большими конфетами в обертках с изображением красных командиров в длинных, до пят, шинелях, и все. А вышло по-иному.

Мы, семнадцатилетние, уходим на фронт бить фашистов. И это здорово! Это очень здорово!

Не надо плакать, мама!

Мы обнимаемся, целуемся, и я сначала иду, а потом бегу к своей теплушке. Двери ее раздвинуты настежь, поперек, на высоте пояса — толстая перекладина. Без этой перекладины кто-нибудь обязательно вывалился бы, потому что каждому хочется, может быть, в последний раз взглянуть на родных, на вокзал, на все, что окружает нас в тот момент. Ведь никто не может твердо сказать, вернется ли живым, увидит ли это небо снова после окончания войны.

Потом, когда я вернулся, но не сюда, а в другой город, куда переехали родители, вернулся живой и не так уж сильно покалеченный, мама сказала:

— Когда ты уходил тогда, в Архангельске, ст нас к своему вагону, я загадала: если оглянешься — я тебя больше не увижу. Я шептала про себя: не оглядывайся, сынок, и ты, словно услышав меня, не оглянулся. И вот мы опять вместе.

Я не сказал бы, что мама была суеверной; и то, что примета ее сбылась, можно назвать чистой случайностью. Но ведь и в случайностях есть закономерность. И я расценил эту случайность как своеобразное материнское напутствие.

Впереди у тебя жизнь. Она не так легка, как видится спервогляду. Но иди по ней смело и только прямой дорогой.

Не оглядывайся, сынок!

ПЕРВЫЙ ФРИЦ

Состав мчит с севера на юг, хищно проглатывая разьезды и полустанки.

«Давай, жми! Жми давай на все лопатки!»

Мы не знаем, где, в каком городе или на

какой станции завершит он свой бег, но нам хочется, чтобы это произошло поскорее.

Погода великолепная, настроение тоже. Двери теплушки закрываем только на ночь. Юрка Кононов, приземистый паренек с круглым, в рябую крапинку, лицом, с рассвета до темноты просиживает у двери, дивясь нескончаемому простору. Дальше своей Нядомы он не бывал и теперь с нескрываемым восхищением вылупляется в пространство.

— Сена-то, сена-то гибнет! — вздыхает его взращенная среди заливных лугов душа.

— Так то ж трава, Юрка, а не сено.

— А сено из чего — из бодыля?

— Все равно грамотно выражаться надо, называть вещи своими именами.

— Иди ты, грамотей, к...

Ребята хохочут. Нет, не хохочут, — ржут, как лошади. От Юрки только и добивались, чтоб он выругался. Ругается он необычно, как-то стеснительно и, если можно так сказать по отношению к ругательскому слову, ласково. Ни у кого другого так не получалось.

— Верно, Кононов! Так его...

— А ну-ка еще...

Юрка краснеет и отворачивается.

В теплушке — ребята из разных взводов и рот. До позавчерашнего дня почти никто не знал друг друга. А сейчас — словно век не расставались. Из бывшего нашего взвода в теплушке только Вася Пушкин и Сашка Лятунцев. Вася не слезает с верхних нар. То ли отсыпается, то ли размышляет о чем-то своем.

Работающие на полях женщины при виде нашего состава разгибают усталые спины, машут платками. Особенно стараются девочки и мальчуганы — нередко бегут вслед за нами по тропинке вдоль железнодорожного полотна.

Чем дальше, тем sooner и расцветистее становились краски полей, лесов, деревушек. Нам, северянам, это особенно заметно.

— Во, гля, травичка! — всплескивает руками Юрка. — И желтеет уже.

— Это не трава, а кукуруза, — внушительно произносит сержант Гульков, которого успели прозвать за глаза «интеллигентом» — прозвищем в то время довольно обидным. — Из кукурузных зерен делают муку. Молдаване и румыны из этой муки варят кашу. Называется мамалыгой.

Сержант много читал, у него даже сейчас в вещевом мешке лежат две или три толстые книги. Но на этот раз ему никто не верит. Во-первых, у этой широколистной травы не видать колоса, а во-вторых, какая же каша из муки... В спор с ним однако

никто не вступает, и это сердит Гулькова. Он напяливает Юрке на глаза пилотку, отходит от дверей, садится на нары, достает ярко расшитый кисет и скручивает сигарку. У него есть папиросы, и ночью, втихаря, он с наслаждением дымит «Беломором» фабрики Урицкого. А днем, при всех, курит только махорку и прикуривает не от спички, которые тоже у него есть, а высекает искру кресалом. То ли жадничает, то ли строит из себя бывалого, выдавшего виды солдата.

Но на Гулькова — кстати, старшего нашей команды — мало кто обращает внимания. Все глядят в широкий проем двери.

Как и вчера, и позавчера в полную силу светит солнце. И поля широкие, уплывающие за горизонт, не то что наши северные клочки отвоеванной у леса и болот земли. От них исходит хлебный одуряющий запах, и даже горький паровозный дым не может отогнать его.

Нас поражают высокие пирамидальные тополя, белые хаты, похожие на развешенные среди садов простыни с прорезами-окнами, журавли колодцев, плетеные изгороди и мелкорослые — куда там до прославленных холмогорок! — коровы. Но больше всего поражают нас пристанционные базары на редких остановах. Мы и думать позабыли о той вкуснятинке, что горками лежит на прилавках, да, пожалуй, не то что думать — многие из нас и вообще не подозревали, что на свете существуют столь огромные, с хороший кулак краснеющие помидоры, бархатистые солнечные абрикосы, пупыристые свежие огурчики, полосатые арбузы и всякая иная едешь.

На первом же таком базаре мы истратили все деньги, не подумав, что впереди могут оказаться базары еще более обильные, совсем, можно сказать, довоенные, с той лишь разницей, что цены на все эти прелести невероятные. И мы ходим, прицениваясь, глотая слюны, потому что карманы наши окончательно пусты, а розовощекие торговки неизменно жадны.

Бывший детдомовец Генка Лешаков говорит со злостью:

— И где только совесть у них?! Семь шкур с едущего на фронт солдата дерут. И не последнее продают — наживаются на войне. А другие бабы в это время на полях спины гнут. Видел же... Моя власть — отобрал бы у них всех этих курей да пышки и на фронт отправил или в госпиталь. Вот это было бы дело...

Я с ним не спорю. В чем-то он прав.

А вообще Генка редко говорит о чем-то серьезно, как вот сейчас. Не такой у него

характер. Может, еще и поэтому, а не только из-за фамилии, все его зовут Леший. Даже командиры не раз оговаривались. А Генка не обижается — откликается на «Лешего», будто и в метрике так записан.

Мы с Лешим служили в запасном полку, хотя и в разных взводах, знали друг дружку, и потому Генка ведет себя со мной как с равным, не обращая внимания на две новенькие лычки на погонах. «Интеллигента» же Гулькова он почему-то сразу невзлюбил и при случае доводит его чуть не до истерики.

— Товарищ сержант, — напустив на себя томную задумчивость, говорит Генка, — разрешите обратиться...

— Да-да, обращайтесь, пожалуйста, — с готовностью отвечает Гульков.

— Скажите, товарищ сержант, у вас есть девушка?

— Ну, есть. А что?

— И фотокарточка есть?

— Ну, есть.

— Покажите, товарищ сержант.

— Зачем?

— Да просто... Я вот смотрю на вас и думаю, что девушка у вас должна быть очень красивой.

— Почему?

— Не знаю, но нутром чувствую. Покажите, товарищ сержант, — Генка смотрит на него таким просяще-умилительным и заинтересованным взглядом, что Гульков не выдерживает, слегка даже краснеет, достает из нагрудного кармашка записную книжку, меж страницами которой вложена фотография девушки.

Генка, взяв фотокарточку и почти на нее не взглянув, торжественно восклицает:

— А! Что я говорил! Меня нутро никогда не подводит. У такого боевого командира, как наш товарищ сержант, только такая красавица и должна женой быть.

— Она еще не жена мне, — говорит довольный Гульков.

— Ничего, будет, — утверждает Генка и пускает фотокарточку по рукам. — Смотрите, ребята, рядовой Лешаков трепаться не станет.

На фотокарточке, конечно, не красавица, но довольно симпатичная, пышущая здоровьем полногрудая девушка. Она сидит на стуле, положив на колени руки и слегка повернув голову в сторону, к столику, на котором стоит ваза с искусственными цветами. Круглый, на высокой ножке, столик и ваза были тогда непременимыми атрибутами провинциальных «фотосалонов».

Когда фотокарточка возвращается к Ген-

ке, он, словно бы наслаждаясь изображением, то подносит ее почти к самым глазам, то отводит руку насколько возможно от себя. И загадочно так улыбается. Мы с нетерпением ждем, что же будет дальше. Ведь не мог же Генка так вот запросто, без задней мысли, спросить сержанта о его девушке. Удивительно, что сержант так вот быстро клюнул на брошенную Лешим прищипку.

— Да, — вздыхает Генка. — За такую девушку хоть в огонь, хоть в воду... Страсть люблю косоглазеньких...

Вот оно, начинается!

— Я люблю, когда человек на ногах крепко стоит. Какой она размер обуви носит — сороковой или сорок первый? — Генка невинно и даже вроде бы смущенно взглядывает на оторопевшего сержанта Гулькова и, не дожидаясь ответа, продолжает: — Красавица! Честное слово, красавица! Особенно губы хороши. Тонкие такие, будто и нет их вовсе. Целоваться неудобно, да красиво зато. А красота в жизни самое главное. Если она еще и картавит в придачу, то совсем здорово... А колени какие, братцы, видели? Жалко, платьем прикрыты. Остренькие, костлявенькие...

— А ну, дай сюда, — не выдерживает больше Гульков. Только сейчас до него дошло, на какой розыгрыш он попался.

— Подождите, товарищ сержант. Я, может быть, всю жизнь о такой девушке мечтал, так хоть поглядеть. Молоденькая, — грудей-то совсем почти нет, — а работающая видно, руки-то, глянтьте, какие жилистые...

Мы едва удерживаемся от смеха. Гульков раздувает ноздри, выхватывает фотокарточку, играет желваками и уходит на излюбленное свое место крутить сигарку.

Утром меня поднимает с нар Юркин вскрик:

— Ребята! Танк!.. Со свастикой!..

Танк стоит посреди взрыхленного поля с покосившейся башней и распластанной гусеницей. Как смертельно раненый, припавший на крыло стервятник, он безобиден и безопасен теперь, но все равно заключено в нем что-то непотухающее зловещее, мрачное, и потому, наверное, мы провожаем его лишь молчаливыми взглядами.

С того утра земля меняется. Большая, истерзанная, изломанная, с незарубцевавшимися открытыми ранами недавних боев, она пробегает перед нами, крича окопами, могильными крестами, воронками, подбитыми танками и орудиями.

Как-то сами собой прекращаются шутки, и никто уже не подтрунивает над Юркой Кононовым, все чаще сворачиваются ци-

гарки, дымятся последние папиросы и сигареты. То, что казалось далеким, по-своему романтичным и влекущим, сейчас становится суровой и грозной реальностью. Настоящая, всамделишная война уже не где-то за горами, она здесь, вот тут, стоит лишь протянуть руку, чтобы почувствовать горячее, обжигающее ее дыхание.

Кажется, приехали.

На станции, забитой составами, солдатами, ранеными, какими-то людьми в бог весть какой одежде, куда-то спешащими, беспокойными, мы видим первого фрица. В грязно-синего цвета шинелишке, небритый и нескладный, он стоит с котелком возле кипятельника и дожидается, видимо, своей очереди. Стоит он так, по всему, давно, потому что каждый норовит наполнить свою флягу, ведро или такой же, как у немца, котелок побыстрее, а фрица отталкивают, а он не смеет ни шуметь, ни спорить и лишь виновато улыбается.

— Пошли, допросим, — предлагает Леший. — Кто по-немецки шпрехает?

В школе большинство учило французский. Такая была мода. А, может, просто учителей французского языка больше было.

— У нас немецкий преподавали, — говорит Леший, — да только он мне чего-то на душу не ложился, едва-едва на удочку тянул. Ну, ничего, может, он по-русски знает...

Леший поправляет ремень, пилотку, одергивает гимнастерку, насупливает брови, подходит к фрицу шагов на десять, останавливается и манит того пальцем. Фриц беспрекословно подчиняется.

— Какой части? — строго спрашивает Леший.

— Никс ферштейн.

— А-а... Не понимаешь?.. А это понимаешь? — и Леший подносит к его лицу не ахти какой кулак.

Фриц, не переставая улыбаться, кивает и говорит:

— Гитлер капут.

— Ишь ты! Сейчас говоришь Гитлер капут, а вчера, небось, говорил русский капут, Сталин, капут, да? — Генка делает зверское лицо.

Артист!

— Нихт, ниht, — испуганно машет руками фриц. — Руссиш карош, Сталин карош, руссиш зольдатеи карош... — и снова виновато улыбается.

— Ух, подлиза несчастная, садануть бы тебя по роже или к стенке... Паф-паф... Хочешь?

— Паф-паф дорт, — показывает фриц на запад. — Гитлер капут, война капут.

— Ну и мудрец, — смеется Леший, не в силах больше сдерживать напускную свою суровость. — Как зовут?

— Зо-о-вуть? — фриц непонимающе смотрит на Генку.

— Э, тупица... Черт, как это «звать» по-немецки?.. Знал бы — выучил... Ну, понимаешь... Я — Геннадий, Гена...

— Хена... — немец, кажется, догадывается, о чем его спрашивают. — Ду — Хена, их — Ханс... Ханс... Форштейн?

Мы хохочем. Генка тезку нашел!

— Ду — Хена, их — Ханс... Форштейн? — повторяет радостно немец.

Леший уже не рад затее и, не зная, видимо, как теперь выйти из положения, спрашивает, показывая на котелок:

— Васер хочешь?

— Я-я, васер...

— Чего ж стоишь, раз-звяв? Дай сюда... — Генка вырывает котелок, пробивается к крану, набирает кипятку: — На, лакай, чтоб тебе подавиться...

Немец благодарно кивает:

— О, руссиш зольдатеи карош! Данке шён, данке... Гитлер капут!

— Иди ты со своим Гитлером... — и Генка мастерски завертывает такое, что у нас от смеха выступают слезы, и немец, еще раз повторив: «Гитлер капут. Война капут», топает на противоположный край платформы, где без всякой почему-то охраны стоят еще несколько удивительно похожих на него фрицев.

Весь остатний — нас повезли еще дальше — путь, мы, как можем, издеваемся над Лешим.

Допросил, называется... Тёзке обрадовался... За кипятком сбежал... Чего ж в гости не пригласил? Посидели бы, побалакали, по сигарочке выкурили... За войну там, за детишек...

Леший моргает, морщится, вздыхает тяжело. Всегда скорый и находчивый на ответы, тут он словно подавился, и только острой, обтянутой пупырчатой гусиной кожей кадык его бегаёт вверх-вниз.

Первым жалеет Лешего Юрка:

— Ладно, ребята, хватит... Чего там... Я бы тоже... Душа наша такая... добрая...

И с ним приходится согласиться.

ЗА ЧТО ТЕБЯ, ЮРКА!

Над городком плывут дымные облака. Они чем-то напоминают разрывы зенитных снарядов — кучные и кудрявые. От руин кирпичных домов тянет гарью. В ноздрях 23

щекочет, и хочется беспрестанно чихать. Прямо перед нами лежит груды искореженных рельсов. Рядом — штабель свеженьких, пахнущих смолой шпал.

Незнакомый майор, представитель части, в которую вливается наша команда, обходит ряды, оценивая нас оглядывает. По усталому, бесстрастному лицу его не понять — доволен он пополнением или нет.

Потом он коротко рассказывает о боевом пути мотомеханизированной бригады и добавляет:

— Бригада наша гвардейская. Это высокое звание она заслужила в тяжелых боях. Теперь вы тоже гвардейцы. И я надеюсь, вы также с честью оправдаете это звание.

Гвардейцы! Незаслуженные пока, но все-таки... Мне кажется, я прибавил в росте и грудь стала пошире.

Потом мы садимся на «студебеккеры», и эти мощные и вместительные машины мчат нас по пыльной степной дороге.

Часа через три скорой езды колонна останавливается около небольшого, наполовину сожженного села. Утонувшее в израненных, полуобгорелых, но все-таки сохранивших кое-какую зелень деревьях, оно сбегало по склону холма к ложине, где вздыбились журавли двух колодцев с тяжелыми, окованными железом деревянными бадьями.

За селом, пониже вершины холма, тянется противотанковый ров, выкопанный по всем правилам военного искусства. Боком к брустверу рва стоит подбитый фашистский танк. Он не успел развернуться и удрать. И холм, и село, и танк этот кажутся неживыми, нарисованными на огромном полотне панорамы.

Лица и руки наши покрыты толстым слоем пыли. На них можно рисовать пальцем, как на закопченном стекле. Майор дает нам полчаса на приведение себя в порядок. Мы раздеваемся до пояса, окружаем колодцы и начинаем полоскать друг друга. Нам не привязать к холодной воде. На Двине мы купались, лишь только сошел лед.

Под конец мы скидываем последнее и по очереди, не торопясь, как бы смакуя леденящий холод колодца, выливаем на себя по полной бадье. Стоящий в сторонке майор сгоняет сумрак с лица довольной улыбкой: «А ничего, дескать, парни, такие не подведут. Таким ни жар, ни холод не страшны».

Потом мы располагаемся на краю рва и едим подвезенную походной кухней крутую перловую кашу, прозванную «шрапнелью». Каша без сахара и почти без масла, но кажется вкусной необыкновенно, и Пушкин

первый отправляется за добавкой. После каши хочется пить. Юрка Кононов берет два котелка и бежит за водой.

— На-азад! Ложись!.. Все ложись!..

Это майор.

Мы падаем ничком. Кое-кто скатывается в ров. Из-за облаков с надрывным протяжным гулом выныривают три «юнкерса». Им удалось проскочить фронтovou полосу, и сейчас они идут неспешно, высматривая добычу, уверенные в своей безопасности. Идут невысоко, соблюдая строй. По ним можно бы стрелять, но нам не успели выдать даже винтовок.

Юрка приостанавливается, глядит вверх, грозит, «юнкерсам» кулаком и спокойно идет к колодцу. Несколько метров остается ему до колодца, когда от одного из стервятников отделяется черная запятая. Она растет, приближаясь, и страшно воеет.

Бесшумно, — так мне по крайней мере кажется, — взмetyвается около колодца земля. Юрка как-то странно взмахивает руками, оборачивается к нам лицом и падает. Я будто бы слышу звенящий звук ударившегося о землю котелка.

«Юнкерсов» уже не видно.

Первым подбегает к Юрке майор. Повертывает к себе, прижимается ухом к груди, щупает пульс. Мы стоим вокруг в недоумении, думая, что Юрка дурачится и не было никакой бомбы, а просто он кувыркнулся ради шутки и сейчас вскочит и засмеется, как полчаса назад на этом же самом месте.

Мне почему-то вспомнились маневры и выполняющая из кустов испачканная рожа Феди Котова. Там была игра, здесь игра кончилась.

Майор поднимается и молча стягивает с головы пилотку. Мы тоже стягиваем пилотки и стоим так несколько минут.

Война входила в нас постепенно, словно приучая и приручая к себе. Сначала нас поразило само слово «война». Оно хорошо было знакомо нам по книгам и песням. «Если завтра война, если завтра в поход, если темная сила нагрянет...» И оно не было страшным, потому что было далеким, неощутимым, как жизнь наших предков.

В наш город война пришла хлебными карточками, постами гражданской обороны, враз опустевшими магазинами, короткими и неутешительными сводками Совинформбюро. И все равно она была еще где-то слишком далеко. Потом начались бомбежки, не частые и потому жданные, по крайней мере нами, ребятами. Честное слово, они вносили воспитательное разнообразие в унылое наше существование.

Заслышав сигнал воздушной тревоги, мы

не убегали в бомбоубежище, мы взлетали на чердаки, на крыши в надежде вовремя расправиться с зажигательной бомбой, шипящей и выписывающей веззеля. Они пачками сбрасывались на деревянный город. Их скидывали с крыш на землю и тушили песком.

Мы плясали от восторга, когда в перекрещенные лучи прожекторов попадал силуэт фашистского бомбардировщика и туда, в слепящий перекрест, стремительно мчались красные и зеленые ленты трассирующих пуль и зенитных снарядов. В мирное время нас не баловали фейерверками, и смертельный этот фейерверк был как праздник.

Наш дом смерть обходила стороной. И только слухи, что там-то бомба попала в самое бомбоубежище, где-то на Новгородской сгорело столько-то домов, доходили до нас, не особенно поражая неокрепшее сознание. Пожары в городе частенько случались и до войны.

А тут лежит Юрка. Мертвый. Он только что смеялся. Ему, как и всем нам, нет еще восемнадцати.

Тишина. Глаза у Юрки открыты. Они смотрят в небо. Оттуда пришла смерть. Она может нагрывать сейчас откуда угодно.

Кто-то коротко всхлипывает. Наверное, Юркин дружок Ваня Мезенцев.

В груди моей нарастает глухой протест, готовый вырваться криком. За что тебя, Юрка? За что?..

Нет-нет, не надо плакать. Мы не девочки. И не малышки уже. Мы — солдаты. Надо сжать кулаки и стиснуть зубы.

Война!..

Моя бабушка любила выпить. Подвыпив, любила говорить: «Рюмка, Лешка, не грех. Попы тоже по рюмашечке пропускают. Вот сподличать — грех, подножку грех подставить... А самый большой грех, Лешка, — человека предать и родине, земле своей изменить. Бог за такой грех смертью карает».

Юрка ни в чем не успел согрешить. Даже в самой малости.

В кармане не успевшей выцвести гимнастерки — фотография девушки, которую он, может быть, так и не успел поцеловать. Майор достает эту фотографию, красноармейскую книжку, комсомольский билет, смятый конверт с письмом, кладет в планшетку и велит нам рыть могилу.

В извещении родным напишут, наверное, стандартное: рядовой Юрий Кононов в боях за Советскую Родину пал смертью храбрых. Что ж, это, пожалуй, будет правильно. Юрка не подвел бы в бою. На его месте мог оказаться каждый из нас.

Без гроба, в тягостном молчании, мы хо-

роним его в полусотне метров от колодца, под деревом, названия которого никто из нас не знает. Такие деревья на Севере не растут.

Майор смотрит на солнце, потом на часы и приказывает строиться. Предстоит пеший переход.

НАКАНУНЕ

Это уже почти передовая. Не то второй, не то третий эшелон. Нет-нет да и шлепнется неподалеку шальной снаряд, просвистит жалобно потерявшая силу пуля, упадет осколок зенитного снаряда. Попахивает порохом. Буквально, по-настоящему.

Не знаю, как там штабисты комплектовали расчеты, но только и Леший и Пушкин угодили под мое командование. Наводчик у меня опытный — Петр Григорьевич Тиунов, лет сорока-сорока пяти. Нам он кажется дедушкой. Генка первый назвал его просто Григорьичем. С того и повелось. Заряжающий — казах Борамбаев Токен Нургожаевич. Вместе с Григорьичем он в бригаде второй год. На широкой выпуклой груди его поблескивает медаль «За отвагу». Все, даже командир роты, зовут Борамбаева по имени.

Лешего я назначаю снарядным, Пушкина — подносчиком.

Сейчас все они готовят миномет, старенький уже, образца 1937 года, с облезшей краской и донельзя истрепанными выюками. Свинчивают казенник, чистят канал ствола. Эту операцию проводят Григорьич с Токеном. Генка протирает смоченной в масле тряпкой подъемный и поворотный механизм двуноги-лафета. Пушкин на подхвате: принеси то, подай это.

Как-то мы все сработаемся, или точнее, суюемся? Старики не подведут, на них положиться можно. А, скажем, на Генку?

Вчера нам выдали винтовки и по пачке патронов. Выдали без каких-либо предупреждений и инструкций. Генка миглом прицепил к ветке росшей на склоне холма березы консервную банку и ну палить... За ним и другие. В запасном-то всего дважды стреляли. Выстрелы захлопали повсюду. Вместо мишенной пошли даже пилотки.

Генка лупил в «молоко». Я смеялся над незадачливым стрелком.

— Смеешься, да? Спорим, не попадешь с первого, — сказал Генка.

Спорить я не стал, а просто лег рядом с Генкой, прицелился...

— Пр-рекратьте стрельбу! Командиры расчетов — ко мне!

Новый фронтовой наш командир роты 25

был полной противоположностью тому ротному, что остался в запасном полку. Высок, широк, лицо почти квадратное, чкаловский — мы тогда бредили Чкаловым — подбородок и огромная шевелюра, которую и под каской не спрячешь. Голос грубый, хриплый.

— Вы что — с ума посходили? Друг друга перестрелять хотите? Сопляки! Мальчишки!..

Мы виноваты, конечно. Но когда же, наконец, перестанут звать нас мальчишками и сопляками?

— Зарубите себе на носу — вам дали оружие, чтобы им поражать врага, а не тратьте пули на консервные банки, да еще в «молоко» пускать. Чему вас только учили? Еще раз повторится — накажу. А сейчас... Вычистить оружие, проверить амуницию, пришить — зашить... И чтоб в вещмешках ничего лишнего не было. Вечером выступаем. Все. Разойдись.

Как он сказал — выступаем или наступаем? Впрочем, это уже почти одно и то же. Ладно, ротный, мы покажем тебе, какие из нас мальчишки...

Задумавшись, я не замечаю, как ко мне подходит Григорьич.

— Товарищ младший сержант! — рапортует он, стоя навтыжку. — Ваше задание выполнено — миномет к бою готов. Личное оружие в порядке.

Издавается он, что ли? Или проверку устраивает, характер познать хочет? Зачем же так, официально? В отцы же мне годен и воюет уже вон сколько. Я чувствую себя очень неловко и говорю совсем не по-военному:

— Хорошо. Спасибо.

Ясно, я и для Григорьича не авторитет, мальчишка безусый, раз только и брился, и то больше так, для солидности, а не потому, что щетина лезла. Плохо, ой как плохо быть безусым мальчишкой. Я невольно трогаю подбородок — хоть бы одна колючая волосинка.

А может, выдумываю я все это? Может, Григорьич, как старый солдат, привык вот так обращаться к старшим по званию в любом случае, независимо от возраста командира? Нет, вряд ли. Да и ухмылочку на его лице я заметил. Э, да что там! Время покажет!

Миномет к бою готов. Григорьич и Токен тоже. Не впервой. А мы — я, Генка, Пушкин? Только бы не подвести, не обмшуриться ненароком. Особенно беспокоит меня Вася. Таскать мины под вражеским огнем тоже не просто. Зароется с перепугу головой в землю, а ты хоть камни в ствол загоняй.

Да и камней-то здесь нет — сплошной черномземом и суглинок.

После обеда нас, комсомольцев, собирает комсорг роты сержант Ивакин. У него простодушное лицо деревенского парня и весь он какой-то свой, располагающий к себе. Комсомольцев в роте много: больше, пожалуй, половины личного состава, но все почти новенькие, необстрелянные. Неужели и комсорг смотрит на нас, как на мальчишек?

— Вот это гвардия! — восклицает Ивакин, и на душе сразу становится легче. — Только чур — взносы платить вовремя, предпоследний день каждого месяца. Рядовые — двадцать копеек, младший комсостав — сорок шесть... Та-ак... Организационный вопрос исчерпан. — Улыбка у Ивакина простая, широкая, привлекающая. — А теперь о завтрашнем дне...

Комсорг собирается с мыслями, трет ладонью лоб, щеки.

— Мы на Донецкой земле. Что такое для страны Донбасс — объяснять, думаю, не нужно. Уголь, металл и прочее. В боях на подходах к Донбассу, особенно при прорыве обороны противника на реке Миус, мы потеряли очень много закаленных, отличных бойцов... — Ивакин замолкает, как бы чтя этим молчанием память погибших товарищей. Нам тоже становится не по себе.

— Сейчас, — продолжает Ивакин, — вы становитесь на их место. Завтра многим из вас предстоит идти в бой впервые. Бой будет тяжелым. Фашисты цепляются здесь за каждый клочок земли, и тем более не захотят отдать так просто железнодорожную станцию Амвросиевку, имеющую для них и для нас важное стратегическое значение...

— Во щелет! — шепчет мне Генка. — Как по писаному.

Я будто не слышу, хотя следовало бы дать Лешему по загривку. Обычные и простые слова в этой предбоевой обстановке звучат как-то по-иному, проникают в самые глубокие сознания, впитываются каждой клеточкой тела и мозга. Не знаю, как у кого, а у меня по спине бегают мурашки. Нет, не от боязни, не от страха, наоборот, — от неподнятости настроения, от необоримого желания не ждать завтрашнего дня, а идти в бой сейчас, прямо с этой комсомольской летучки.

— Я надеюсь, что такие орлы, как вы, завтра не подведут. За Родину! За Сталина!

— За Родину! За Сталина! — негромко, как клятву, повторяем мы.

Перед ужином нам впервые выдают по сто граммов фронтowych.

— Вот это да! Вот это житуха! — восторгается Леший. — Закусончик бы еще подходящей. Вася, махнемся?

— На что? — сразу откликается Пушкин.

— На завтрашний борщ.

Пушкин протягивает кружку Генке, но тут же отдергивает руку.

— Не-е, не буду.

— Почему?

— Так.

— Бесповоротно?

— Ага.

— Ну и черт с тобой. Трави свой желудок алкоголем. Я же как для тебя лучше хотел. Давай выпьем...

Пушкин выпивает и враз хмелеет.

— Меняться захотел? Ха-ха! Нашел дурака! — заплетающимся языком говорит он Генке. — Думаешь, не понимаю, почему ты меняться захотел? По-онимаю. Ты меня обдурить решил. Не будет завтра борща. Или тебя не будет. Или меня. Вот.

— Идиот, — резко отвечает ему Генка, и доев кашу, идет спать.

Я тоже ухожу спать в свой окоп. Григорьич с Токеном сидят на поваленном дереве, курят, разговаривают вполголоса. Различаю часто упоминаемое «Миус», «на Миусе», «под Миусом»... Да, им есть о чем поговорить, что вспомнить. А моя фронтовая биография начнется только завтра, через несколько часов. А может, не успею начаться, тут же и кончится. Как сказал Вася Пушкин, «или тебя не будет, или меня». Правильно обозвал его Генка. Об этом и думать нельзя, не то что говорить вслух. Конечно, все может случиться. Не на учениях в запасном полку. Вот Юрка Кононов — и выстрелить по врагу не успел. А что чувствует человек, когда умирает? Или просто — р-раз и нету. Ничего нет: ни земли, ни неба, ни людей, ни войны... Ни-че-го!..

КРЕЩЕНИЕ

Что же это все-таки было?

Бой?.. Ад?.. Конец света?..

Никаких мыслей, никаких дум. Ни о жизни, ни о смерти. Тело — один, до предела напряженный нерв.

Огонь!.. Огонь!..

Одной миной... Тремя минами...

Беглым!!!

Отбой! Миномет на выюки!

Меняем позицию, потому что немцы нас засекали и вокруг начинают дымиться земля от мин и снарядов. Жарко. Просто жарко — от солнца, палящего сквозь дымовую завесу и облака пыли.

К бою!

Успеваем сделать выстрелов двадцать, и снова надо сделать не враз достигаемое для немцев местечко. И впереди, к ним поближе.

Хочется пить. А фляжка уже пуста. Дуррак, думать надо — тут водой не разживешься. По глоточку, лишь бы пересохший рот смочить, а ты присосался, будто фляжка бездонная. Теперь терпи. До конца.

— Ур-ра!..

Это поднялась пехота. Давай, братцы, мы поддержим!

Огонь!.. Огонь!..

— Морозов! Оглох? — подползает командир взвода.

Оглох? Возможно. Оглохнешь тут...

— Овражек вон видишь? Давай туда. И быстро, одной перебежкой. Вперед.

Даю команду расчету. А ребята — молодцы. Про Григорьича и Токена говорить нечего — с одного слова все понимают. И Пушкин словно ожил — таскает ящики с минами хоть бы хны. И не очень-то пулям и осколкам кланяется. Генка тоже делает все как надо.

Ага! Прижали гадов! Бегут... А ну-ка взводгонку...

— По пехоте... Осколочный... Заряд второй...

Только бы по своим не ударить — жмут фрицам на пятки. Нас немцы перестали беспокоить — некогда.

Ну-ка, еще огоньку!

— Все! Нетути больше, — кричит Пушкин. — Мин нету.

Как нет? Неужели успели все расстрелять? Ведь столько ящиков было...

Григорьич с Токеном спокойненько садятся друг против друга на корточки, начинают скручивать сигарки из одного кисета. Генка утирает лицо платочком. Пушкин растерянно на меня смотрит, словно он виноват в том, что кончились мины.

Я не знаю, что делать. Бежать к старшине, докладывать взводному? Пока раздумываю — взводный сам тут как тут. «В чем дело?» Показываю на пустые ящики. Взводный сплевывает, гнет трехэтажным в чей-то адрес. Или просто так, для разрядки. Видно, и в других расчетах с боеприпасами не лучше.

— Кури, командир, — говорит Токен, когда взводный уходит.

Мне не хочется курить. Хочется пить, но просить воду у товарищей стесняюсь, а чтоб не подумали чего — беру из рук Токена кисет и свертываю сигарку. Горький мажорочный дым еще больше сушит рот. Ниче-

го, казак, терпи... Терплю. А куда денешься!..

Сколько же времени прошло с того момента, когда мы вышли на первую огневую позицию? По солнцу — часов пять — шесть, торчит прямо над головой, жарит что есть мочи. А спроси кто меня — сказал бы: вечность.

— Эй, заснули? К ротному «НП» мины привезли.

Удается вырвать всего три ящика — тридцать штук мин. Не прозевай, взяли бы больше. На ящиках — номера, цифры. Как-то из них обозначает завод, где делали эти мины. Может, они с Валиного завода? И это ее руками обточены грушевидные корпуса. Странно — я только сейчас подумал об этом. А ведь с рассвета расстреляли десять ящиков.

Немцы оставили первую линию обороны и закрепились на высоте с разрушенным, очень удобным для нашей наводки строением, и поливают огнем нашу залегшую пехоту. Отсюда нам их не достать. Связной командира роты передает приказ: добратся до лесочка, что под высотой, почти у ее подножья, и оттуда открыть огонь.

До лесочка метров триста. По овражку можно пройти от силы сто. Остальные — голым полем. Ползем, скребем носом землю, отдыхаем в снарядных воронках, неглубоких и горячих.

Тьють... Тьють...

Заметили или так, случайные пули?

Неподалеку рвется мина. Другая... Заметили, сволочи. Переждать? Накроют. Обязательно накроют. Только вперед. Хоть ползком, хоть перебежками.

К счастью, снова поднимается в атаку наша похота, и немцы переносят огонь на нее. Всегда радуешься, когда бьют не по тебе.

Вот уже край леска. Еще метров двадцать — и нас укроют деревья. И тут немцы начинают контратаку. С устрашающим воем полосуют небо «мессера», строчат из пулеметов длинными очередями.

Выдержат наши или нет? К сердцу подкатывается незнакомый холодок. Мы первыми из роты вошли в лес. Ни взводного, ни связного. Если фрицы прорвутся — мы окажемся в кольце. Может, смататься, пока не поздно? Тьфу! Как только такое в голову пришло! Бросаю взгляд на расчет — не догадались ли, о чем подумал командир?

Огневую позицию я, кажется, выбрал удачно. За невысоким, у самого края леса, густым кустарником с черными ягодами — старая, поросшая травой воронка от бомбы.

28 В этой воронке и устанавливаем миномет.

Даю команду «к бою!». Пересохшее от жажды горло издает какой-то хрип. Григорьич тянет фляжку: «На, промочи». Фляжка у него почти полная. Железный он, что ли? Так бы и осушил до дна. Но я вливаю в рот только большой глоток. Вода теплая и отдает почему-то ржой. Нам говорили: когда мучает жажда, лучше всего прополоскать рот, а воду выплунуть. Как бы не так! Гло-таю. Хорошо! Ну, теперь держись, фрицы!

И снова — никаких дум, никаких мыслей. Весь где-то там, как бы в потустороннем мире.

Контратака немцев захлебнулась. Склон вспаханного взрывами холма усеян фашистскими трупами. К вечеру высота была в наших руках.

Григорьич за ужином поднимает кружку: — За ваше боевое крещение, ребята!

Казалось бы, вот когда возрадоваться настоящему. Ведь сколько ждали этого дня. И все живы. Но мы даже улыбаемся с трудом. Спать. Доесть поскорее «шрапнель» и — спать, спать, спать...

ЭХ, ОКОПЫ!

Нас могут поднять в любое время дня и ночи и перебросить на тот или иной участок фронта. Мы — кочевники. Мы воюем в составе отдельной минометной роты, и поэтому нас может выклянчить у комбрига любой пехотный комбат, которому нужна поддержка.

Машины у нас нет. Мы топаям по оврагам, полям, редко — по дорогам. Ночью ничего — прохладно и относительно безопасно. Днем хуже: пот заливает глаза, солью выступает на гимнастерке, а при появлении «рамы» — немецкого самолета-разведчика — или «мессеров» то и дело приходится нырять в кювет или тыкаться носом в землю. Но мы идем и поддерживаем пехотинцев своим огнем, а потом нас снова кто-то выпрашивает, и мы снова взваливаем на плечи нелегкое наше снаряжение, и снова идем кого-то поддерживать, не зная ни части, ни фамилии пехотного командира. Комроты, конечно, знает, а нам, собственно, это и ни к чему. Не до того нам. Наше дело — не давать врагу покоя, щекотать его осколками мин то с одной позиции, то с другой, выявляя его огневые точки и создавая видимость многочисленности. Это в дни общего затишья. Ну, а если бой или даже разведка боем — тут только успевай поворачиваться.

Но нас выматывают не бои и даже не изнурительные переходы. Нас выматывают окопы. Их приходится копать почти каждый

день, точнее — каждую ночь, когда слипаются от постоянного недосыпания глаза, когда уставшие от перехода мускулы настоятельно требуют отдыха и подкашиваются ноги. И добро бы только индивидуальный окоп. А бывает, когда нет удобных естественных укрытий, приходится еще рыть один-два окопа для миномета.

Саперные лопаты красивы, легки, но что ими накопаешь! И немало нам стоило трудов стянуть у обозников две штыковые и одну подборную лопату. И все равно тяжело. Дождей давно не было, земля, как камень, — не угрызешь. А мы долбим ее, долбим и кажется, что не будет этому конца.

Изредка нам везло: на новом участке нас будто поджидали недавно еще обжитые, немецкие или наши — чаще немецкие — окопы. Генка Леший, не позаботясь перелопатить бруствер в противоположную сторону, тут же нырял в первый попавшийся окоп, и вытянуть его оттуда можно было разве только командой «К бою!». И лишь однажды он нырнул так вот и тут же выскочил, как ошпаренный. От него несло, как от бочки ассенизатора. Окоп оказался немецким туалетом. После этого Генка стал осматривать ее.

Копает каждый по-разному. Григорьич — спокойнее, деловито, не торопясь. Так и подмывает подстегнуть: «Да поживее, старый, не упрямисься до рассвета. А и поспать еще надобно». Но не успеешь оглянуться — Григорьич уже похрапывает. Подойдешь, глянешь — не придерешься. Все честь по чести: и ширина, и глубина, и ноги не согнуты, и даже соломы откуда-то успел притащить под голову.

Токен вгрызается в землю с каким-то приглушенным шипением и присвистом, будто и не прошагал только что двадцать километров полуторарапудовой плитой за плечами. Привык, видно, за два года войны. Однако и он не поспевает за Григорьичем, чуть-чуть, на каких-нибудь пять — десять минут, но не поспевает. И потому, завидев, что Григорьич уже приглаживает лопатой бруствер и подчищает края окопа, чтоб не сыпалась земля, Токен начинает копать еще яростнее, посверкивая в темноте крупными зубами и белками глаз.

Генка Леший старается выгадать на кубатуре. У него получается не окоп, а узкая и короткая щель, в которую он втискивается боком и так, на сдном боку, спит. Повернуться в этой щели невозможно. Сколько раз я пытался втолковать ему, что и копать-то такую щель труднее, лучше лишнюю лопату земли выкинуть, чем так вот, согнувшись в три погибели. Генка кивал, вроде бы

соглашаясь, но продолжал делать по-своему.

Пушкин начинает так же, как и Григорьич — степенно, размашисто, предварительно очертив лопатой контуры будущего окопа, широкого и просторного. Ему труднее — он выше всех нас почти на голову, и окоп ему приходится копать тоже длинный, как кашка, потому что Пушкин не мог спать с согнутыми коленями. Но первоначального заряда Пушкину хватает ненадолго. Вскоре он, как и Генка, начинает хитрить, сводить стенки на конус и в конце концов у него получается не окоп, а несуразно вытянутая воронка.

Как-то, не докопав, Пушкин бросил лопату, сел на землю и зашморгал носом.

— А ну, бери лопату, нечего сопли распускать.

Пушкин молчит, продолжает шморгать. В темноте не видно его лица. Может, по нему текут слезы. Но в таких случаях — я уже понял — выражать соболезнование нельзя, и потому говорю грубо:

— Вставай, дурило! Так перед фашистами и будешь сидеть раскорякой? Да первый же осколок или пуля шальная твои будучи.

— Ну и пусть.

— Убьют же.

— Пусть убивают лучше, чем так себя мочегить.

— А матери твоей какво будет извещенье получить?

— У нее на руках еще четверо.

— Ну, не убьют — ранят, а потом ногу или руку отрежут — инвалидом на шею матери сядешь.

— Не сяду. Учетчиком буду в колхозе.

Чем же его пронять? Сажусь рядом, кладу ему на плечо руку.

— Тебя убьют или ранят по твоей же дурачине — сам потом жалеешь себя, я тебя жалеть не буду, и Леший не будет, и Григорьич тоже. А вот то, что мы в тебе хорошего бойца потеряем, — это уж для всех нас плохо. Ты ведь знаешь, в глаза у нас хвалить не очень-то приятно, ругать — дело другое, а я тебе по секрету скажу, что ротный давно на тебя обратил внимание. Такого подвсчика, говорил, я давно не видел. Здорово он мины таскает, аж расцеловать парня хочется.

— Не ври.

— Ну, ты! — беру я командирский тон. — Очень нужно мне тебе врать. Цаца выискалась! Я тебе все сказал и балабонить с тобой больше некогда — самому еще вон сколько копать.

Я подымаюсь и иду к своему окопу. Пушкин сидит еще с минуту, потом встает, бе-

рет лопату, начинает выбрасывать землю с какой-то внутренней злостью, сердито сопя и стплываваяся от попадающей в рот пыли.

Мне легче. Во-первых, по положению, во время перехода я ничего, кроме вещмешка и винтовки не несу, а, во-вторых, меня никто не прзверяет и до поры до времени я копал не на положенную глубину, а на штык-полтора мельче.

А вот после Волновахи...

Бои за эту железнодорожную станцию шли упорные. Нас бросали с участка на участок. Я здорово измотался и очередной скоп вырыл еще мельче обычного. Лег, стал засыпать, но будто все время кто-то будил меня и нашептывал: «Встань, дурак, подкопай. Завтра-послезавтра на стдых, в третий зшелон, а ты из-за лени своей жизнь угробишь. Вставай же, пуля только труса да лентяя и ищет».

Встал, углубил на штык. Подумал — и еще на полштыка взял. Заснул со спокойной совестью. А днем, как шмели, налетели «мессершмитты». Кружа на бреющем полете, поливали землю свинцом. Сколько их было — не знаю. Может, двадцать, может и вся сотня. От их воя туго звенело в ушах. Земля, казалось, вибрировала. А когда они улетели, наступила такая тишина, что невольно подумалось — неужели один только я остался в живых? Но, по-моему, никого, по крайней мере из нашего взвода, даже не ранило. А могло бы. И не только ранить. В стенке окопа над моей головой зяли четыре, толщиной с карандаш, отверстия. Стоило поленившись и не взяты еще на полштыка...

Я никому не сказал об этом, но с того дня, как бы ни устал, копаю окоп на положенную глубину.

«ТАРАНТУЛ»

Все нам здесь непривычно, даже ночи. Густые, непроглядные, они сваливаются неожиданно, без заметного перехода от сумерек, словно накладывают на тебя внезапно плотный мешок. И видишь сквозь него одни лишь звезды, тоже непривычно яркие и холодные до дрожи.

Я лежу в окопе, смотрю на звезды и думаю о необычайном разнообразии мира и красок. Небо изредка просверливают очереди трассирующих пуль, разрезают лучи прожекторов, вспыхивают шаровыми молниями и гаснут, не долетев до земли ракеты. И это красиво. Везде и во всем есть своя прелесть. Даже в смерти. Умереть ведь тоже можно красиво, приняв смерть без страха, молча, как должное.

30 Где-то на левом фланге через опреде-

ленные промежутки времени стрекочет пулемет. Фрицы очень боятся темных ночей.

Неподалеку от меня похрапывает в своей «кишке» Пушкин. Его храп легко отличить от чьего другого. Сначала Пушкин с тонким грисвистом втягивает в себя воздух, замирает на долю секунды и затем издает резкое и хрипкое карканье, будто ворон с грустуженным горлом. Как он сам в это время не просыпается — уму непостижимо.

Мне спать не хочется — уж очень хороша и в общем-то покойна эта ночь. Но спать все же надо. Я натягиваю шинель, повертываюсь на бок. В нос ударяет запах сухой глины, тынет чихать.

И только начал смаривать сон, как на меня прыгнуло и затешило на мне что-то легкое, едва ощутимое сквозь толстое сукно шинели.

«Тарантул!» — проносится в голове.

Я никогда не видел тарантулов, знаю только, что похожи они на больших пауков, умеют прыгать, живут на Юге и укусы тарантула смертелен. Об этом нам рассказывал, кажется, учитель зоологии. А может, я вычитал где-то или не учитель, а кто-то другой о них рассказал. Во всяком случае память долбит одно: «Смертелен... Смертелен... Смертелен...»

Липкий, вяжущий страх останавливает сердце, перехватывает дыхание, высушивает рот.

Несколько ночей назад меня разбудил резнувший по глазам ослепительный свет. Прямо над моим окопом висела, медленно и зловеще опускаясь, осветительная бомба. Где-то в черноте неба кружил самолет. И тут же я услышал резко нарастающий свист фугасной бомбы. «Вот и все, отвоёвался», — сказал я себе и закрыл глаза. Страх не было. Было какое-то странное, совершенно невразумительное чувство отрешенности от всего окружающего мира. Пустое и звенящее, как бочка из-под керосина. Бомба глухо шмякнулась в землю. Со стенок окопа посыпалась земля.

Сейчас ахнет... Сейчас... Или я оглох? Или меня уже нет?.. Ну же, ну... Какого черта?!

Бомба не взорвалась. Кто-то из нашего расчета родился в рубашке. Возможно и я.

Нервы расслабились. Я мгновенно заснул. Все это длилось не больше минуты и было как сон. Наутро саперы откопали бомбу: она зарылась метрах в пятнадцать от моего окопа, — отвезли подальше и подорвали. Я слышал этот взрыв. Ничего, солидная была шучка.

Погибнуть на войне от разрыва бомбы, снаряда или от пули — явление закономерное. Но от укуса какого-то паука... Бр-р...

Так и подмывает выпрыгнуть из окопа и бежать, бежать без оглядки. Но это не простой паук, это — таранул. Стоит только пошевелиться, обнажить тело — и он вопьется в тебя ядовитым своим жалом. А может, не жалом — зубами? Есть у таранула зубы или нет?

Прыг!..

Невесомая тяжесть перемещается ближе к плечу. Еще прыжок — и он вопьется в шею, в руку, в лицо... Лихорадочно, как в бою работает мозг. Что делать? Как спастись от почти неминуемой смерти? Мокнут ладони, холодный пот проступает на лбу. Может, резко повернуться и пришлеленуть таранула? А если промахнешься? Черт бы побрал эти южные края! Решаю запахнуться в шинель так, чтобы не то что таранул — блоха не проскочила.

Дышать под шинелью нечем. Поднятая моей возней глинистая пыль забивает нос. Проковыривая около рта малюсенькую дырочку. В нее начинает сочиться прохладный воздух. Пью его экономно, расчетливыми глотками.

Прыг!..

Он сидит на спине. Нет уж, дудочки! Через толстое сукно шинели ни жало твое, ни зубки меня не достанут. Кажется, я спасен. Только бы не заворочаться, не раскряться во сне...

В ту ночь мне привиделась Валя. Мы шли с ней по набережной Архангельска. У причалов и на рейде стояли пароходы под иностранными флагами. На них грузили лес. В городском саду играл духовой оркестр. Валя говорила, что пароходы уйдут и начнется война. Я разубуждал ее — никакой войны не будет, мы же грузим лес, а не пушки. И лес этот нужен, чтобы строить дома. Дома нужны всем людям, где бы они ни жили. А война не нужна никому. «Она будет, — стояла на своем Валя, — и ты уйдешь на фронт». «Мы уйдем вместе». «Нет, я останусь. И буду тебя ждать... Слышишь — буду ждать...» Я не заметил, как она оказалась на другом конце набережной. Ветер, пропитанный смолой, глادил ее распущенные волосы и звал с собой. И она ушла с ветром. Она растворилась в нем, оставив мне лишь слова: «Я тебя буду ждать... Очень буду ждать...»

Просыпаюсь я в радостном возбуждении, Валин голос все еще слышится мне отчетливо и ясно.

Рассветает. Лесопосадка, в которой расположилась рота, ожила. Оживает с рассветом и передовая. То тут, то там хлопают снарядами, пущенные немцами без прицела, для страха. Наши помалкивают пока, выжидают, засекают немецкие огневые точки. Приказ

о наступлении ожидается на завтра.

Я вылезаю из окопа. Земля покрыта крупной росой. Из низины плывет рыхлый туман. В нем мельтешатся медузообразные фигурки солдат-пехотинцев. Они идут на передовую. Только почему не ночью? Может, на разведку боем? Немногие тогда вернутся обратно. А нашей роте пока везет. За три недели только одного заряжающего из третьего расчета ранило. И то не в бою, по собственной, так сказать, инициативе: бросился курицу ловить, что шмыгала меж окопов. Облезлая какая-то курица. Как она попала сюда — один бог знает. И села-то вроде поблизости не было. Разве что перешла ночью линию фронта, не выдержав больше оккупации. Решила: пусть лучше свои съедят, чем настобрындевшие ей фрицы. Ну, солдатская душа и не выдержала. А где-то, видимо, немецкий снайпер таился, в бедро попал заряжающему. А мог и убить.

Постой, но меня вот тоже сегодняшней ночью кто-то хотел убить. Ни за что ни про что. Или мне снилось? Нет, снилась мне Валя. Что же тогда было?

Таранул!

Я вздрагиваю, скидываю с плеча шинель — никого. Заглядываю осторожно в карманы, отгибаю воротник: мог ведь, убильца, и туда спрятаться до поры. Карманы густы, ни за воротником, ни за хлястиком таранула нет. Склоняюсь над окопом. В углу, там, где лежала моя голова, что-то ворочится. Ах ты, сукин сын! Лягушонок!

И смех разбирает, и стыдно за себя донельзя. Недаром говорится, что у страха глаза велики. Почему мне не пришло в голову, что на юге могут водиться не только таранулы, которые, кстати, в общем-то довольно безобидные существа, но и лягушки?

КОСТЕР

Осень. Когда-то она приносила на наш стол пахнущий ржаным полем свежеспеченный хлеб, полосатые арбузы, капустные кочерыжки, которые мы предпочитали в детстве любым фруктам, бруснику, грибы и конечно же — пироги со всевозможной «осенней» начинкой.

Осень сорок третьего года ничего не родила на испохабленной оккупантами земле. Она только щедро полила ее кровью. Вражеской и нашей. Больше — вражеской. Фашисты не успевают уже утаскивать и хоронить трупы своих солдат. Они вспухают и гниют в перелесках, траншеях, воронках, пока наши похоронные команды не присыплют их землей.

На медных бляхах немецких ремней выдвинуто: «С нами бог!».

Наткнувшись на труп немца, к которому уже нет ненависти, Григорич всегда вздыхает и произносит:

— И черт теперь не возьмет, и богу не надобен.

Фронт готовится к прорыву очередной линии немецкой обороны. Наша рота отдыхает пока в изрытой окопами и землянками лесопосадке. Листья на деревьях уже взялись желтизной. Скоро начнут опадать. Тогда труднее будет укрываться от немцев.

Генка Леший раздобыл где-то с полведра некрупной картошки, и мы решили испечь ее на костре. А костров даже днем разводить не разрешают: ничто не выдает так расположение части, как дым. А печеной картошки хочется, как перед смертью. Пушкин предлагает развести костер на дне окопа, только из очень сухого хвороста, чтобы сразу взялся огнем, без дыма.

— Смотри-ка, соображает! — Леший надвигает на глаза довольному похвалой Пушкину пилотку. — Пошли сучья ломать.

Минут через пятнадцать на дне Генкиного окопа весело затрещал совсем почти бездымный костерок. На этот раз Генка выкопал окоп по всем правилам и вроде бы отменяет носовые. Когда угольев и золы накапливается достаточно, мы засыпаем ими картошку и рассаживаемся по краям окопа, нежа ноги в сухом, идущем от угольев тепле. Дни становятся все холодней и пасмурней.

Неожиданно из разорвавшегося в облаках просвета выныривает стая «юнкерсов» и идет на рощу, километрах в двух от нас, куда вчера на рассвете спрятался по меньшей мере танковый полк.

Лают зенитки. Вокруг «юнкерсов» зреют темные точки. А бомбы сыплются и сыплются на рощу, как горох. У меня сжимается сердце. «Юнкерсы» делают заход за заходом. А Токен подплывает и хохочет:

— Давай, еще давай, — кричит он, скаля зубы. — Сыпай, сыпай... Еще сыпай...

— Ты что? — набрасываюсь я на Токена. — С ума сошел? Чему радуешься? Там же наши танки.

Токен машет руками:

— Нет танков, нет. Ничего нет. Одни деревья. Ты спал, я не спал. Танки ночью ушли. Все ушли. Туда... — и показал в сторону передовой линии.

И верно. Как я сразу не сообразил! Ведь если бы танки стояли в роще, оттуда валил бы густой черный дым от взорванных бензобаков. А так только дымится и оседает смешанная с ветвями и сучьями земля.

Два «юнкерса» вспыхивают почти одновременно. Молодцы, зенитчики! Но мы не успеваем как следует порадоваться. Остальные «юнкерсы», развернувшись, идут на нас. Мы не успеваем и охнуть, как сверху начинают сыпаться бомбы. Бежать к своему окопу поздно. Ничего не соображая, только бы как-то укрыться от неминуемого сейчас взрыва двухсоткилограммовой фугаски, валюсь в первый попавшийся окоп. Там уже кто-то есть, но это ничего, потом разберемся. На меня тут же наваливается бормочущий проклятия Токен. И тотчас раздается взрыв, другой, третий... В ушах гудящий звон, словно сунул голову в колокол, бьющий в набат. И сквозь этот звон — глухой, идущий откуда-то снизу, будто из-под земли, — забористый мат.

Какая-то секунда затишья — и снова взрывы. На голову сыплется земля. Токен скрипит зубами и становится почему-то тяжелее. Мат снизу переходит в визгливый крик:

— Слезайте... Ой, слезайте...

«Юнкерсы», отбомбившись, уходят. Почему-то пахнет жженой тряпкой.

— Вставай, Токен, — говорю я.

— Нельзя вставать. Совсем нельзя.

А снизу:

— Да слезайте же, растуды вашу...

— Ты ранен, Токен?

— Ранен. Очень ранен. Плакать хочется.

Подходит Григорич, — он своевременно нырнул в свой окоп, — помогает Токену встать, вернее — сползти с меня. Токену вырвало осколком кусок ягодицы. Подо мной, оказывается, лежал Генка, а под ним — Пушкин.

Вася выскакивает из окопа, бросается на траву и начинает кататься, проклиная все, что можно проклясть, в том числе и печеную картошку. Лежал-то он на непотухшем еще костре. Горячие угли выжгли ему низ гимнастерки, всю переднюю часть брюк и подштанников, подпалив кожу. Еще немного — и пришлось бы Пушкину совсем плохо.

Генка лопается от смеха:

— Вкрутую, Вася, или всмятку? — ржет он.

Я отправляю Генку за санинструктором и носилками.

Лесопосадка будто поредела. Пооблетели листья, потемнели ветви. Траву усыпали ксмыя земли. Стало еще пасмурнее и неуютнее.

Раненых, кроме Токена, кажется, нет. Ни одна бомба не попала в лесопосадку, и вряд ли кто еще догадался залезть вчетвером в один окоп.

Токена жалко. В какие только переплеты не попадал — сходило. А тут — на тебе! На прошлой неделе загорелась ротная полу-

торка. В кузове — две бочки с бензином. Водитель в сторону отбежал, мы тоже кто куда, а Токен кинулся в охваченный пламенем кузов, скатил бочки, кричит, чтоб воду несли. Ну, тут вроде бы все храбрости стали, начали тушить. И вдруг чей-то до смерти перелуганный голос: «Вещмешок там в кузове с двумя гранатами, противотанковыми». Мы опять кто куда, а Токен снова в кузов, нашел-таки в дыму вещмешок, вместе с ним прыгнул, сам весь дымится. Окалтил себя водой и вместе со всеми кинулся тушить полуторку. Спасли машину. А не Токен — остались бы от нее рожки да ножки.

Девушка-санструктор выливает на рану бутылочку йода. Токен с трудом удерживает готовый сорваться крик. Мы помогаем сделать перевязку, кладем Токена на носилки, несем в медсанбат. Пушкин, прикрывая обожженное место руками, идет следом.

Токена кладут на операционный стол — осколок, кажется, застрял в кости. Васю смазывают какой-то мазью и говорят, что до свадьбы заживет. Генка интересуется, можно ли будет Пушкину после этого жениться. Врач дает Генке самого настоящего подзатыльника, как мальчишке, сущемуся не в свои дела.

Мы прощаемся с Токеном. В глазах у Токена слезы. Мы ничем не можем ему помочь и только говорим, что будем ждать, пусть по выписке из госпиталя ни в какую другую часть ехать не соглашается.

Генка не отстает от разыскивающего старшину Пушкина и донимает его, призвав на помощь все свое остроумие. Пушкин только сопит, изредка огрызаясь. Природа обошла его даром находчивого ответа.

Старшина тоже не отказывает себе в удовольствии поизмыкаться над бедным Васей, заставляет его рассказывать все во всех подробностях, спрашивает и переспрашивает, но, наконец сжалившись, выдает ему новое обмундирование.

А потом мы едим картошку с крупной солью. Картошка хорошо испеклась и еще теплая. Пушкин сначала отказался разделить трапезу, слишком свежо было впечатление от горячих угольков, но, поглотив слюни в сторонке, присоединяется к компании, которой здорово недостает Токена.

ГРАНАТЫ, ОГУРЦЫ, ПУШКИН И ГЕНЕРАЛЫ

Нас в этот бой почему-то не ввели. По моим личным соображениям — потому, что прорыв вражеской обороны на нашем уча-

стке фронта готовился с применением авиации, катюш, иванов, которые «ящиками стреляются», мощной артиллерии и танковых соединений, и наши «пукалки» были просто ни к чему — еще и по своим невзначай угодишь.

Всю ночь к передовой подтягивали технику и боеприпасы. А с рассветом на немцев обрушился такой шквал огня, что и мы, кое-что уже повидавшие, диву дались.

К полудню фронт прорвали без нашего участия, и теперь мы топчем по свободной, никем не обстреливаемой дороге, следом за наступающими частями. В наполовину разбитом и сожженном селе объявляется привал. Генка Леший, сбросив с плеч опорную плиту, — он теперь заменяет Токена — уходит на «разведку»: мало ли что можно найти в недавно оставленном гитлеровцами селе. Повар только начинает заправлять походную кухню, времени достаточно, и я отпускаю его.

Возвращается Генка минут через десять.

— Ящик гранат немецких нашел, — шепчет он мне на ухо. — Вон там, под бугром, в траншее. Новенькие, в солидоле, бумажкой обернутые, как конфеты. Штук сто, а может, и больше.

Мы до того нередко находили ящики с немецкими минами и при возможности отправляли их хозяевам обратно. Немецкие мины на миллиметр меньше в диаметре, попадание было не очень точным, но чужого добра не жалко. Винтовок и автоматов немецких тоже хватало, а вот гранат мне видеть не приходилось — обычно гитлеровцы прихватывали их с собой.

Я иду за Генкой. Не сбрыхнул Леший: в траншее, проходящей по окраине села, лежит ящик с гранатами. Неподалеку такой же ящик, но пустой. Успели опорожнить, гады. Гранаты смешные, непривычные для нас — с длинными деревянными ручками и белыми шнурками сквозь них. Прежде чем бросать, надо дернуть за шнурок.

— Метнем? — предлагает Генка.

Соблазн слишком велик. Я выпрыгиваю из траншеи, оглядываюсь — никого.

— Валяй! Только подальше.

Взрыв негромкий, чмокающий.

— Эх, фрицев бы сейчас сюда с роту, мы бы им показали, на какой горе раки зимуют, — вздыхает Генка.

Дальше того, что видит глаза, Генку воображение не уносит. А я, будто и в самом деле, вижу гитлеровцев. Вот они поднимаются в рост, идут на меня. Так-так, давай поближе... А теперь получите вашу же закусточку... Ага, залегли? Ну, что ж, подождем, выдержки хватит. Граната — вот она, в

кулаке правой руки зажата, только шнурок дернуть. Ну, поднимайтесь же, чего испугались? Ведь нас только двое. Но мы на своей земле, а вы на чужой. И сгниете вы здесь, и никто добрым словом вас не помянет. Ползете? Хотите окружить? Не пройдет номер... Вот вам... Еще... Еще...

— Сматывайся, — старшина!

По улице, пригнувшись и сторожась, бежит к траншее с автоматом в руке наш старшина. За ним трое солдат с винтовками наперевес. Наверняка подумали, что какой-нибудь заплутавшийся отрядишко немцев пробивается к фронтовой полосе.

— Давай за мной, — Генка прихватывает с собой, как оберенок дров, десятка полтора гранат и бежит по траншее. Я за ним.

Когда он успел разнюхать все ходы и выходы, или просто чутче у него собачье, но только мы, по-пластунски преодолев заросший высоченной лебедой огород и миновав какое-то подворье, оказываемся в расположении роты.

Пушкин, подложив под голову вещмешок, видит уже, наверно, второй сон. Выражение лица его сумрачное, тревожное. Думаю, снится ему швабра и старшина запасного полка. Григорьич сидит по-стариковски на завалинке, дымит цигаркой, покашливает и думает о чем-то своем, — далеком, домашнем.

Генка прячет где-то гранаты и, как ни в чем ни бывало, подсаживается к Григорьичу, просит закурить.

— Что за взрывы были? — спрашивает Генка Григорьича, свертывая цигарку.

— Сопляки какие-нибудь гранаты немецкие нашли и баловались. Мало им, видишь ли, настоящей войны. Вот взорвется в руках — поминай, как звали.

— А может, отряд какой прорвался?

Григорьич только рукой махнул: откуда, дескать, ему тут взяться. Потом говорит:

— Если б так — не стали одними гранатами швыряться, будто воз их тащили. Мальчишки это.

— А может, то вовсе и не немецкие гранаты? — не сдается Генка.

— Так по звуку ж слышно. Шлепают, как мальчика по заднице. У наших звук при разрыве другой — покрепче, пужливее.

Генке крыть нечем. А тут старшина приходит. Солдаты тащат за ним ящик с гранатами. Генка срывается, бежит к ним, вскрикивает о чем-то со старшиной, возвращается.

— Правильно, Григорьич. Мальчишки баловались. Сам старшина сказал. И еще сказал, что каша сегодня без масла будет: обоз, что ли, застрял где-то.

— Это плохо. Без масла у каши скус не

тот, и без пользы — съесть да до ветру сбегать, — вздыхает Григорьич.

Генка, довольный что хоть таким образом отомстил Григорьичу за «сопляков», затаптывает окурки и... исчезает. Ведь только вот у меня перед глазами сидел и будто сквозь землю провалился.

В село возвращаются жители. До того они прятались в оврагах, в землянках, в заброшенных, до войны еще вырытых, силосных ямах. В основном это пожилые женщины и старухи. Молодежь, говорят, угнали в Германию. С темными, исхудалыми лицами, не совсем еще, видимо, веря в свое освобождение, чутко прислушиваясь к доносящимся издадека взрывам, они в то же время деловито, без ахов и вздохов начинают приводить в порядок полуразрушенное свое хозяйство, варить невесь из чего похлебку и стараясь не глядеть в сторону походной кухни, от которой идет запах уваристой каши.

Генка выныривает откуда-то с двумя здоровенными солеными огурцами в руке. Они по-домашнему пахнут чесноком и укропом. Один огурец Генка сует Григорьичу: «Пушкину оставь», другой разламывает, протягивает половину мне.

— Во засольчик!

— Выменял?

— Клад нашел. Бочка огурцов, две бочки пшена, куль муки, зерна, наверно, с тонну и, покопаться если, может, и еще что по-вкуснее найдется. Идем, поглядишь.

Ну и Леший! Хрустя огурцами, мы проходим метров сто по главной улице, сворачиваем в переулок, еще сворачиваем и оказываемся перед сожженным, тлеющим еще домом.

— Сюда, — говорит Генка.

Ручаюсь, сотня, тысяча человек прошли бы здесь и не обратили внимания на заваленный землей, жженым кирпичом обвалившейся печной трубы и листами скрюченного обгоревшего железа с крыши едва приметный вход в подвал. Да, поистине у Генки собачий нюх.

Подвал добротный, каменный, крепкому, видно, хозяину принадлежал. Слабый пучок света очерчивает в темноте силуэты бочек, кулей, ящиков. Целый продовольственный склад. В такое-то время!

— Слушай, — мелькает у меня догадка, — а вдруг это партизанский склад?

— Ха, партизанский! — смеется Генка. — Я уже выспросил. Здесь полицей жил. Самолично дом поджег и удрал с фашистами. Ну, а про подвал некогда вспомнить было. Сейчас, наверно, если очухался, за тылок чешет.

— Точно?

— Чтоб мне провалиться! Кого хочешь спроси.

— Тогда зови старшину. Да пусть фонарик прихватит.

Обычно строгий, всегда сумрачный, старшина расцвел.

— Вот это да! Вот это приварок! — потирает он руки. — Ну, молодцы, ребята! А ну, глянь, что там в мешки завернуто. Может, сало.

Генка, светя фонариком, пролезает в дальний угол подвала, вытягивает сверток, разворачивает.

— Вот, гад!

В мешковине лежат два немецких автомата, которыми полицай так и не успел воспользоваться — слишком быстро пришлось сматывать удочки.

— Ладно, — говорит старшина, — оставьте все как есть, потом опись составим и акт, чтоб все честь по чести. — Старшина, к слову сказать, был в этом отношении педантом... — А пока, Морозов, поставь человека у входа и чтоб ни одна живая душа... Понятно? А я пойду командиру роты доложу.

Я посылаю Генку за Пушкиным. Хватит, выспался, пусть постоит. Не знаю, что там ему наплел Леший, но только не очень-то поворотливый Пушкин прибегает на этот раз мгновенно, вытягивается, тарачит не отошедшие еще ото сна глаза, уставно докладывает о прибытии.

— Видишь? — показываю я Пушкину на вход в подвал.

— Вижу, товарищ младший сержант.

— Чтоб ни одна живая душа... Понятно?

— Понятно, товарищ младший сержант.

— Ни туда, ни оттуда, — добавляет Генка.

Пушкин согласно кивает, снимает винтовку с плеча, проверяет затвор.

— А случай чего — стрелять?

— Стреляй, — подмигивает мне Генка. — Только первый предупредительный — в воздух, а потом действуй по своему усмотрению.

Я не понимаю, в чем дело, но все же подтверждаю Генкины слова многозначительным кивком.

— От лопух, Вася, — хватается за живот Генка, когда мы отходим от подвала на порядочное расстояние. — Кого, думаешь, он там караулит?.. Трех немецких генералов! Ага. Он дрыхнет, значит, а я ему — вставай, говорю, штаб немецкой армии захватили, в подвале, гады, отсиживались. За командиром корпуса послали, а тебя ротный на охрану ставит. Везет же тебе, говорю, Вася. Никому не доверили — только тебе. Сам ротный, говорю, сказал, что никто, кроме

Пушкина, с такой задачей не справится. Ну, Вася и клоннул — вскочил, подтянулся. А я ему еще маслица подливаю: за такое дело и медаль могут нацепить. Вот тебе, говорю, пара немецких гранат, сам командир роты лично тебе передать велел, только спрячь, чтоб не на виду были. Ну, Вася как гранаты увидел, совсем заглотив наживку.

Я оглядываюсь. Вася держит винтовку наперевес, сосредоточенно ходит около входа в подвал — три шага туда, три шага обратно. Гимнастерка на боку топорщится, гранаты, видно, туда засунул.

После ужина меня вызывают к командиру роты.

В просторной комнате целехонькой хаты склонились над картой командиры взводов. В сторонке, у входа, стоит старшина. Я докладываю о прибытии.

Скуластое лицо ротного оторвалось от карты, морщины в недоумении сбежались к переносью.

На выручку спешит старшина:

— Это по поводу обнаруженного продовольствия, товарищ старший лейтенант.

— А-а... Минуточку... — ротный ставит на карте несколько точек, откладывает карандаш, поднимается. Комната сразу становится маленькой и тесной.

— Вот что, Морозов, — говорит он, — рота сейчас снимается, а ты с расчетом останешься до утра. Миномет можем прихватить на случай с собой. А завтра пришлем машину. Зерно раздадите жителям, нам молоть его некогда, да и негде, остальное погрузите. Ясно?

— Ясно, товарищ старший лейтенант.

— А как насчет акта? — спрашивает старшина.

— А к какому вы его делу пришлете? Канцелярий мне разводить не хватало. Не чужое — свое берем у врага. Идите.

Старшина выдает нам буханку хлеба, банку консервов «Фасоль в томате» и, подумав, отсыпает четыре горсти шоколадного драже.

Рота уходит. Мы остаемся. Григорьич раскатывает шинель, очищает от обломков рипича землю, укрывается и тут же засыпает. Генка разводит небольшой костерчик. Тихо. С запада, как далекий-далекий гром, доносятся отзвуки взрывов. Небо там светлее и время от времени прочерчивается трассирующими пулями. Пушкин уже не ходит, а сидит напротив подвала, направив дуло винтовки прямо в черную пасть входа. Мне становится его жаль.

— Хватит разыгрывать, — шепчу я Генке. — Пусть спать ложится.

— Ничего, он днем выспался.

— Тогда я сам...

— Погоди, — останавливает меня Генка и оборачивается к Пушкину: — Вася, спроси, может они до ветру хотят. Только по одному выпускай.

Доверчивость Пушкина поразительна. Он подходит к подвалу, кричит в глухо отдающуюся эхом пустоту:

— Эй, фрицы-дрицы, кто с... хочет?

— Так они ж по-русски не понимают, — говорит Генка.

— Захотят — поймут, — на полном серьезе отвечает Пушкин и, подумав, кричит еще: — Эй, туалетен, сортир, шайзе...

Я весь содрогаюсь от сдерживаемого хохота.

— Молчат, — удивленно тянет Пушкин.

Генка берет из костра головешку: «Я вот им сейчас помолчу!» — и спускается в подвал. Вынырнув оттуда, Леший накидывается на обомлевшего Пушкина:

— Р-растяпа! Спал, да? По глазам видно, что спал. Сбежали генералы. Все до одного. Не миновать тебе трибунала, Вася. Что теперь с ним делать, товарищ младший сержант?

Ну, артист этот Генка! Рожа серьезная, голос дрожит... Хоть бы усмехнулся, черт полосатый.

— Н-не спал я, честное слово, не спал, — бормочет Пушкин. — Может, они еще раньше сбежали. Я же их от тебя не принимал.

— Не принимал, не принимал, — передразнивает его Генка. — Значит, устава караульной службы не знаешь. Надо было принять.

— Ладно, ложитесь, — говорю я. — Утром разберемся, что к чему.

Умачиваясь на ночь, Пушкин кряхтит, постанывает. Спал он беспокойно, вздыхал во сне и ворочался.

Наутро, узнав о коварном розыгрыше, Пушкин взъярился и чуть не брякнул по Генкиной голове немецкой гранатой. Хорошо, Григорьич вовремя подоспел, отобрал гранату и сказал спокойным голосом:

— Такими игрушками, ребята, баловаться не гоже.

ЗЛОПОЛУЧНЫЙ КАРАВАЙ

Второй час сию я у края дороги, чтобы посланная за нами машина не проскочила ненароком мимо.

Село оживает, обретая мирный вид. Уже мычит где-то полугодовалая корова, слышится тихое повизгиванье поросенка, которого каким-то образом удалось упрятать от гитлеровских солдат, доносящая запахи варенка. Проходят, останавливаясь на короткий

привал, воинские части, водители машин заливают у колодцев парящие радиаторы, взьерошенные, всего навидавшиеся вояки, деловито шныряют по дворам, копошатся в траве, где стояла вчера наша кухня. Вчерашние сгорбленные старухи будто бы помолдели, скинули с себя добрый десяток лет, шустро бегают с ведрами, моют полы, крыльца, наводят порядок в подворьях. Появились откуда-то ребятишки, и село не кажется уже таким разрушенным, как двадцать часов назад.

Переваливает за полдень. Машины все нет. Хлеб, консервы и конфеты мы съели утром, и теперь в желудке начинает посаживать. Махорка тоже кончилась — совсем позабыл выпросить у старшины пару пачек. Да и кто мог подумать, что так случится.

Взрывов уже не слышно, фронт здорово, видимо, продвинулся вперед. На Запад летят эскадрильи наших самолетов. А мы сидим, загораем, как идиоты. Черт бы побрал этого Генку с его подвалом! Сует вечно свой нос куда не надо. Лопай теперь соленные огурцы без хлеба, запивай холодной колодезной водичкой. А в роте — обед горячий, со свежей капустой борщ и каша.

Мы тоже решаем сварить кашу, благо пшена в нашем распоряжении сколько угодно. Но оказывается, что у нас нет ни капелки соли. И, как назло, ни одной походной кухни: можно бы выпросить горсть у повара. Ну, а просить у жителей, у которых соль на вес золота, я не разрешаю.

— На огуречном рассоле можно сварить, — словно для себя бурчит Пушкин, все еще сердитый за вчерашнее.

— Ты гений, Вася! — восклицает Генка и спускается в подвал за рассолом.

Сварили. Съели за милую душу.

Сгущаются сумерки. Машины нет как нет.

— Вот влипли, так влипли, — сокрушается Генка.

— Тебе-то еще не так бы надо, а мы-то при чем, — ворчит Пушкин.

— На войне всяко бывает, — спокойно говорит Григорьич. — Могло машину разбомбить по дороге, мог и шофер заплутать. А то и вовсе позабыли — ввели в бой роту, не до нас.

— Расскажи что-нибудь, Григорьич, — просит Генка.

— Не до рассказов, — отмахивается Григорьич.

Генка встает, потягивается.

— Скучота с вами. Пойду, поброжу, может, девчата объявились, вечерку замыслили. Идем, Вася, на пару.

— Иди ты...

— И пойду, Вася, пойду... Разрешите на полчаса, товарищ младший сержант?

Я киваю. Сам бы пошел с удовольствием — село большое, может, и впрямь где веселье по случаю освобождения. Только с Генкой идти не хотелось: обязательно в какую-нибудь историю влипнешь. Да и неловко перед ребятами, как-никак командир.

Проходит почти час, а Генка не возвращается. Я основательно начинаю беспокоиться. Мало ли что. И полицей, и гитлеровец могут где-нибудь прятаться, а Генка и винтовки с собой не взял. Как я раньше-то об этом не подумал! Командир липовый!

В предночной тишине гулко шлепают два взрыва, один за другим. Немецкие гранаты. Кто мог их бросить? Генка? Но зачем? Только в порядке самообороны.

— Пушкин, за мной!

Короткими перебежками, от хаты к хате, прикрываясь за уцелевшими плетнями, мы продвигаемся к предполагаемому на слух месту взрывов. Тишина. Нигде никого. И никакой больше перестрелки. Но вот слышатся быстрые шаги. Ближе и ближе. Мы прячемся за угол полуобвалившейся стены, неслышно загоняем патроны в стволы винтовок.

По улице, не сторожась и даже вроде напевая что-то под нос, торопливо идет Генка. В руках у него что-то круглое и темное. И это что-то он перекидывает из руки в руку.

— Хальт! — говорю я по-немецки.

Генка пригибается и хочет прыгнуть в сторону.

— Ни с места! Стрелять буду.

Мы выходим из засады. Узнав нас, Генка нервно хихикает.

— Думаете, напугали? Ха-ха! Я не в такие переплеты попадал. Не на того нарвались.

Я готов влепить Генке затрещину. И будь это на гражданке, не задумался бы ни на минуту. А в армии за рукоприкладство — если даже и следует — по головке не поглядят.

— Где лазишь? Кто гранаты швырял?

— Ну, я швырнул. Надо было. Обстановка. Держи, а то у меня руки спеклись. Горячий, с пылу, с жару... — и Генка перебрасывает Пушкину каравай душистого, только что испеченного хлеба. Такой хлеб, помню, до войны моя бабушка пекла.

— Где взял?

— Ну, потеха! Рассказать — за животики схватиться.

Мы подходим к подвалу. Григорьич стоит, как на посту.

— Опять сошкочил чего? — сердито глядит он на Генку. — Пороть тебя некому.

— Что верно, то верно — некому. Только ты зря ворчишь, Григорьич. Посмотри лучше, что я принес. Кажи, Вася...

— Домашний, — как-то уютно произносит Григорьич, взяв из рук Пушкина каравай.

— Где взял? — снова строго спрашиваю я Генку.

— В печке. Ей-богу! Ну, история... Умора прямо, а не история. Дай, Григорьич, курну... — Григорьич протягивает Генке недокуренную сигарку, предварительно оборвав губами заслоняемый кончик. Генка жадно затягивается и начинает рассказывать: — Иду я, значит, по селу, насчет вечерки размышляю. Темнотица — хоть глаз выколи. Нигде никого, словно повымирили. Потом гляжу — в дальней хатенке огонек светится. Ну, я само собой туда, к окошку. В хатенке бабка, коптилка горит. И та бабка хлеб в печь садит. Шесть караев затолкала, заслонкой прикрыла, стала в хате убираться. А я стою, смотрю, и так мне печеного хлеба захотелось, аж слюни побежали. Если б она его из печки вынимала — не стерпел бы, зашел, попросил краюху. А так — сколько еще ждать, пока испечется. Ушел я. Брожу по селу, а тот хлеб из головы нейдет. Опять ноги меня к той хатенке привели. Смотрю в окно — бабка на столе холстину какую-то расстилает, хлеб, наверное, в нее заворачивать. Что, думаю, делать? Зайти, попросить? А не даст если? Обидно будет. И опять же неудобно советскому солдату хлеб выпрашивать. Ну, я и сообразил... Мигом сюда, пару гранат прихватил и обратно...

— Это когда же ты сюда прибежал? — спрашиваю я с ехидцей, надеясь уличить Лешего во вранье.

— А вот как раз, когда ты Ваське про моржовую колбасу рассказывал.

Верно, было. В первый раз, пожалуй, вспомнилась. Мне тогда лет десять было. Колбасу эту по дороге в школу в ларьке продавали. Была она красная, страшно соленая и стоила невероятно дешево. Покупали мы ее на деньги, что матери давали нам на булочки в школьном буфете. Дома моржовую колбасу я, конечно, есть бы не стал, а за компанию она казалась очень даже вкусной.

— А как же мы тебя не видели?

— Боевая выучка, товарищ младший сержант... — хвастливо подмигивает мне Генка и продолжает рассказ: — Ну, прихожу, в окошко глядь, а бабка уже три караваев на холстину выложила, за четвертым тянется. Я тут же за угол хаты, в заросший огород

одну за другой гранаты р-раз и по стеклу оконному ногтями скребанул. Бабка с перепугу присела, лопату, которой хлеб вытаскивала, бросила и в подпол нырнула, как мышь. Шустрая бабка оказалась. Я с ходу в хату, каравай в руки и айда. Давай, Вася, ломай, у меня уже все желудочные соки иссякли.

— Отставить, — неожиданно для самого себя говорю я. Мне очень хочется отведать хрустящей корочки и духовитого мякиша, и скажи я слово или промолчи просто — Вася мигом разламает каравай на четыре равные доли. Но подспудно, нутром я чувствую, что нельзя больше потакать Генкиным шуткам-дрючкам, пора с этим кончать. И пусть против меня встанут все, я все же настою на своем.

— Рядовой Лешаков! — я, пожалуй, впервые называю так Генку, когда рядом нет старших по званию или по должности. — Возьмите хлеб и отнесите обратно.

Григорьич лезет в карман за кисетом. Вася вертит в руках каравай, словно греет о него руки. Генка лупает глазами, никак не может понять: шучу я или взаправду.

Я не свожу с Генки пристального взгляда.
— Да брось, — говорит он. — Когда от многого берут немножко, это же не воровство, а просто дележка. Куда ей одной столько?

— Не твоё дело — куда, — голос мой становится тверже. — И вообще... пора прекратить безобразия.

— Что я — для себя, да?..

Мне в душе жалко Генку. Конечно, не для себя. Да и не думал он ни о чем таком, что называется мародерством. Созорничал по-мальчишески, не отдавая отчета, вот и все. Но сколько же можно прощать это мальчишество?

— Н-не разговаривать! Выполняйте приказ.

А есть хочется. И сытный дух так и прет от каравая. Ребята нальются на меня, да и Григорьич тоже. Ну и пусть.

— Да как я теперь заявлюсь...

Я не отвечаю Генке. Я оборачиваюсь к Григорьичу:

— Рядовой Тиунов! Проводите Лешакова.

Григорьич ссыпает махорку с газетного обрывка обратно в кисет, охотно встает, подталкивает Генку:

— Пошли!

Я рассталила шинель, одну полу под себя, другой укрываюсь. В желудке пусто, зато на душе легко. Я уверен, что поступил правильно.

Мы стоим на дороге и голосуем. Километров пятнадцать прошли пешком, притомились. К тому же нам известен номерной шифр машин нашего корпуса. Ну, а попав в расположение корпуса, легче будет разыскать и роту.

Подвал со всем его содержимым сдали трофейной команде, еще ожидать обещанную машину не было смысла. Леший притих — по его ж вине все так по-дурацки сложилось. Особенно он скис после того, как увидел утром бабку, у которой стащил каравай. Она стояла у околицы и, поясню кланяясь, встречала проходящие через село войска хлебом-солью. Мы ни слова не сказали Генке. Он все понял сам.

Переполненные и перегруженные машины проносятся мимо. Водители только разводят руками: рады бы, дескать, выручить, братцы, да сами видите — куда ж вас посадишь...

— По одному надо, — говорит Григорьич. — Скорее кто-нибудь подберет.

— А не растеряемся? — сомневаюсь я.

— Все дороги идут на Берлин — чего ж растеряться. Хоть там, да встретимся.

Подумав, я соглашаюсь. Первым мы остаемся при дороге Пушкина, а сами садимся в сторонке. Не проходит и десяти минут — Вася прощально машет рукой из кабины притормозившего на его «голос» «студебеккера», кузов которого был предельно загружен ящиками с боеприпасами. Таким же макаром уезжают Генка с Григорьичем. И тут словно заколодило: ну, хоть бы одна машиненка. Продав с час, иду пешком. Да вот если б знать точно, куда шагать. А то ведь так напропалую идешь, просто на Запад. Зря я, пожалуй, согласился с Григорьичем. Лучше бы всем вместе.

За спиной слышу шум мотора. Оборачиваюсь — «виллис». На таких комдивы и штабисты ездят. Проголосовать? Не остановится ведь. А и остановятся — начнут допытываться, как да что. «Где твой расчет, командир?» «Там». «Где там?» «Не знаю, впереди». «А ты почему сзади плетешься?» «Да так вот получилось». Э, лучше уж на своих двоих.

«Виллис» обдаёт меня грязными брызгами: как нарочно в колдобину с застоялой водой задним колесом угодил.

Начинает накрапывать дождик. Мелкий, осенний. Не хватает еще промокнуть до нитки. Хорошего же стрекача дали фрицы — настоящий марафон, по всем правилам. Не догонишь так вот зарросто, без подготовки. Ну, валийте, жмите, в таком де-

ле уступил первенство с удовольствием.

Развилка. Стою, как былинный богатырь, у трех дорог. Терять-то мне особо нечего, голову снести в любой стороне могут, клад меня даже золотой не интересует, а вот по какой дороге рота прошла — знать бы! Указатели есть, да что толку — одни, ничего мне не говорящие названия сел. После недолгого раздумья сворачиваю вправо — в самое близкое отсюда село. А то уже вечерет, не спать же в открытом поле под дождем.

Село разбито не очень. Бой, видимо, прошел стороной, только край села, где когда-то была колхозная ферма, порушен. Да и то, возможно, не сейчас — при отступлении.

Остро пахнет кизячным дымом. Тут не в нашем лесном краю, дровами разжигаться не просто, топят высушенными коровьими лепешками с соломой — кизяком.

— Заходить до хаты. Тай не стесняйтесь.

Женщина пожилая, постарше моей мамы, а голая мягкий такой, распевиный, девический.

— Заходи, сынку, батька мий радый будэ.

Горница чистая, увешанная расшитыми полотенцами-рушниками.

— Глянь, батько, якого я тебе гостя привэла, — говорит хозяйка, переступив порог.

С лавки тяжело поднимается видно когда-то плечистый и коренастый, а теперь грузный и оплывший дед, виснет на моих плечах, троекратно целует.

— Вот и дождался радости. А то ведь думал, помру и не увижу боле родных-то сынков. Одни хари ерманские два года бачил. А у меня силы-то против них нет, сколько уж с лавки не сползаю, — он ощущает меня, будто слепой. — Справная одежка-то. И погоня вишь. Унтером, значит, служишь. Молодец, внучек. Я тоже в первую ерманску унтером служил...

Хозяйка смотрит на нас, скрепятив на груди руки, и по щекам ее текут слезы. Перехватив мой взгляд, она утирает глаза обористым рукавом кофты, улыбается грустно, спохватывается: «Ой, лишенки, чога ж я стою... И вы не стойте — сидайте к столу, сидайте...» — и сама убегает куда-то.

Дед усаживает меня за стол, покрытый старенькой, но свежестиранной скатертью. Хозяйка приносит казанок с борщом. От него по горнице распространяется такой дурманящий запах, что у меня спирает дыхание. Хозяйка споро раскладывает ложки, ставит крынки, стаканы и откуда-то из подпечка достает завернутую в тряпицу бутылку.

Дед дрожащей рукой разливает самогон, поднимает стакан:

— За твое здоровье, внучек. Спасибо тебе, от всех нас благодарствую, освободил от проклятого врага. И за то спасибо, что не побрезговал нами, гостем в хату зашел... Дед склоняет в поклоне голову.

А мне стыдно. Стыдно, что я-то тут совсем ни при чем, что я непричастен к освобождению села и весь бой за него просидел около дурацкого подвала с пшеном и солеными огурцами. И я чуть было не сказал об этом, но вовремя сообразил, что по сути не меня лично благодарит дед, а видит в моем лице всю советскую армию, всех советских солдат, и каждый из них для него — его освободитель. И я с чистой совестью чокаюсь с дедом и хозяйкой, у которой влажнятся глаза и подрагивают губы.

А как там Григорьич, Генка, Пушкин? Добрались до роты или приветил их кто на ночь, как и меня?

Давно я так вкусно не ел и не спал на такой чистой и мягкой постели. Аж не верится. Все будто во сне.

Просыпаюсь от сторожких шагов хозяйки. Она накрывает на стол завтрак. Дед сидит на лавке. Возможно, он всю ночь не сомкнул глаз. Мне же встать неохота, понежиться бы еще часок под теплым одеялом, да нельзя, нужно идти, догонять своих.

И хозяйка, и дед уговаривают остаться на денек, но я наскоро съедаю яишню, выпиваю кружку парного молока и, поблагодарив за гостеприимство, выхожу из хаты. Хозяйка провожает меня до ворот, всхлипывает. Она ничего не рассказывала о себе, но мне думается, что сын ее или муж либо погибли, либо воюют где-то, не имея пока возможности подать о себе весточку.

Второпях я как-то не обратил внимания, что вещмешок мой стал будто бы полнее и весомее, а сейчас, за околицей, я заглядываю в него и обнаруживаю добрый шматок сала и полбуханки хлеба. Нет, не они, а я должен до земли поклониться этим людям!

Вскоре меня подбирает старенький, с открытым, без капота, мотором ЗИСок. Эти невзрачные с виду машины были до того выносливы и неприхотливы к избитым дорогам и фронтальной обстановке, что красавцы «студебеккеры», на мой взгляд, не шли ни в какое с ними сравнение.

Водитель из другой части, но приблизительно знает расположение нашего корпуса. Довезти до места он меня не может, торопится по своим неотложным делам, но все же подбрасывает с десятка километров и подробно объясняет, как добраться до села, где по его предположениям, стоят части четвертого гвардейского.

И снова я вышагиваю по обочине, сторо-

нясь проходящих мимо танков, самоходок, орудий. Дождя нет, но небо пасмурное, напоминающее родное, архангельское. Еще бы лес наш сюда, стройный, пьянящий хвойным настоем. А колючие, искривленные посадки акаций — какой же это лес! — так, лишь бы зелень.

При въезде в село — шлагбаум. Для меня его, разумеется, поднимать не станут. Я пригибаюсь под низким брусом, а когда распрямляю спину — вижу перед собой строгое лицо незнакомого сержанта.

— Куда? Кто? Откуда?

Коротко отвечаю.

— Ладно, разберемся, — говорит сержант, открывая дверь какого-то тут же стоящего сарая. — Прощай...

Я догадываюсь, что попал в руки часовой. Спорить и возражать бесполезно.

Сарай наполовину завален подсолнечными семечками. Прямо на семечках лежат четверо солдат и спокойно их лузгают. Я тоже ложусь и тоже начинаю лузгать. Через четверть часа всех нас ведут в избу, где за непокрытым дощатым столом сидит капитан с тусклыми глазами, хищным носом, кловом и удивительно брезгливым выражением лица. Слово съел он что-то невкусное, а его заставляют есть еще и еще.

Сначала капитан просматривает документы, потом начинает допрашивать каждого по очереди. Почему отстал от части, в каком месте, при каких обстоятельствах?.. Солдат он отпускает быстро, дав им ориентир дальнейших поисков своей части, а на меня глядит испытующе, с недоверием. Я рассказываю ему все честно, не приврав ни на столечко. Он долго молчит, курит, перелистывает красноармейскую книжку, комсомольский билет, тягуче вздыхает.

— М-мда, командиры пошли нынче... Расчет растерял, где находится часть — не знает... Разуливал, конечно, куда приятнее, чем воевать. Риск небольшой.

Ох, если б он знал, как я ненавижу его в эту минуту! Впрочем, он знает. Или догадывается. На тонких его губах играет злая усмешка.

— Товарищ сержант, — зовет он, — ответьте отставшего, пока наведем справки.

И опять я в сарае. Один. Семечки кажутся горькими. Сколько он там будет наводить справки? Жаль, документы у себя оставил, а то отсюда улизнуть запросто. Сарай щелястый, доски едва-едва держатся, ковырнуть слегка — и дуй на все четыре стороны.

Я лежу и смотрю в щель. Мне ничего не остается делать — лежать и смотреть на спящих по улице села бойцов, занятых делами, сборами, подготовкой к новым бо-

ям. А вот какой-то тип гонит хворостиной бычка. Тощий бычок, неказистый, но борщ у ребят будет что надо. В нескладной фигуре погонялы видится мне что-то знакомое. Стой, да это же Ивакин! Провалиться мне на месте — комсорг нашей роты!

— Ива-акин! — ору я, что есть мочи.

Он оборачивается, но никого не видит и, подумав, что ослышался, гревает бычка хворостиной так, что тот дает задки и поворачивает в мою сторону.

Я вскакиваю и вовсю барабаню в дверь.

Звякает щеколда, на пороге вырастает задержавший меня сержант:

— Взбесился? На губу захотел?

Ивакин оглядывается, узнает меня, подзывает какого-то солдата, вручает ему хворостину: гони, дескать, до кухни, а сам идет к нам.

Недолгое объяснение у капитана, который пока еще и не думал наводить справки, — и я на свободе.

— А Григорьич, Пушкин, Лешаков? — спрашиваю Ивакина на пути к окраине села, где расквартирована наша рота.

— Вчера еще все пришли. Тебя только дожидались. Ротный уже забеспокоился. Вечером сниматься отсюда будем.

— Здорово драпают фрицы, а? По-марафонски?

— Тут-то драпанули, а на Молочной сидят. Там у них оборона крепкая, зубами прогрызть придется.

Про оборону немцев на реке Молочной среди бойцов поговаривали давно, вспоминая при этом Миус-фронт.

— Прогрызем, ерунда!

Сейчас мне все видится в розовом свете. И такая охота вспать фрицам по первое число, что аж ладони зудят. Теперь-то меня никаким приказом не заставишь караулить подвалы, будь в них хоть ящики с шоколадом.

ПОСЛЕДНИЙ БОЙ

Медленно истачиваются последние дни ноября. Медленно потому, что корпус бросил на ликвидацию Никопольского плацдарма гитлеровцев, а нам никак не удается пробить брешь в глубоко эшелонированной обороне врага.

Деревья уже оголились, земля выцвела. Идут нудные, наводящие тоску дожди. Ночью подмораживает, а днем оттепель развозит дороги, и густая грязь налипает на сапоги, и приходится волочить на ногах пудовую тяжесть, потому что останавливаться и счищать черноземные лапти некогда, да

и бесполезно: через пять шагов они образуются снова.

Нас перебрасывают с участка на участок, пытаюсь нащупать слабинку в обороне противника. Вчера мы отмахали километров семьдесят. На место пришли в темноте. Лил дождь. Копать окоп не было сил. Отыскал какую-то ложбинку, завалился и тотчас уснул. Проснулся от того, что вода заполнила ложбинку, и я чуть ли не плавал в ней. Даже нижнее белье промокло. Била дрожь. Кругом — ни зги. И нигде никого. Побродил, пошарился вокруг, — может, в землянку какую попрятались? — не нашел никакой землянки. И ни привычных в ночное время ракет, ни выстрелов, хотя бы и редких. О чем же командование думает? Вот бы и вдарить сейчас по немцам. Они не ждут, сидят, как тараканы, в своих утепленных блиндажах и щелях. Я хорошо знаю эти блиндажи с накатами в несколько слов, с удобными нарами, постельным бельем, шкафчиком с консервами и шнапсом, так устроились, будто век вековать здесь собрались. Ну, уж — хренка-огирька, как говорит наш старшина.

При воспоминании о немецких блиндажах становится еще холоднее. Пробую присесть, чтоб согреться. Не помогает. Когда же выдадут зимнее обмундирование?

И вдруг я замечаю тусклый желтоватый огонек. Иду на него прямо через лужи, чего уж теперь беречься, больше чем промок — не промокнуешь.

Избенка на отшибе не то села, не то хutora. Низкая, покосившаяся, со слепленными глиной осколками стекла в продолговатом, без створок, окошке. Стучу. Дверь со скрипом открывается, и меня обдает благотным домашним теплом.

— Один?.. Входи, да дверь заворяй поплотнее, не студи избу.

Вид у меня был, наверное, плачевный, потому что и старуха, и костлявый дедок, латавший за столом какую-то обувку, почти одновременно всплеснули руками.

— Ох, господи! До нитки, почитай, промок. Раздевайся скоренько, да лезь на печь, пока я щц разогрею.

Старуха суетится, дедок встает из-за стола, помогает мне стянуть набрякшие сапоги.

— Все, все скидай, — говорит дедок, — стесняться тут некого. Старуха до утра высушит.

Я залезаю на печь в чем мать родила, дедок накрывает меня овчинным полушубком, и в то же мгновение я проваливаюсь в ночь. Возмозно, меня и будили, звали поесть щей, но я ничего не слышал...

— Есть у вас кто из наших?

— Да спит вон солдатик, промок весь вчера...

В избе светло. А мне кажется, что спал-то я всего-навсего с полчасика.

— Морозов?!

— Я, — отвечаю с печи.

Трра-та-та-та... — мат пулеметной очереди.

— Вся рота с ног сбилась, тебя ищут.

Не помню, как вскочил, как оделся во все сухое, схватил винтовку, вещмешок и понесся к площадке перед сельсоветом, где выстроилась наша рота.

Подбегаю к ротному, прошу разрешения встать в строй.

— Где расчет? — спрашивает ротный.

Он хорошо знает, что расчета, как такового, у меня нет уже несколько дней. Генку и Григорьича ранило одновременно. Генку — в руку, срезало кусок мышцы, Григорьича — в живот. Когда около них разорвался снаряд, Пушкин уполз за минами, а я был метрах в пятнадцати, на своем наблюдательном посту, откуда вел коррекцию огня.

— Где расчет? — повторяет ротный.

Пусть нет Григорьича и Генки, но за Пушкина-то я в ответе. Я шкашиваю глаза и вижу в строю его продолговатую, над всеми возвышающуюся голову, но ротному говорю: «Не знаю». Я ведь и верно не знал, где был эту ночь Вася, где была рота. Уж потом мне сказали, что я слишком поторопился нырнуть в свою ложбинку. Вскоре пришел старшина и увел роту в село, в бывшую конюшню, в которой была солома и крыша почти не протекала.

— Трое суток ареста, — говорит ротный. — И наводчиком в третий расчет.

Я повторяю приказ и встаю в строй. От роты осталось немногим более полнокровного взвода. Я чувствую себя преступником и гадаю, куда же меня посадят для отбытия срока наказания. Но пока ротный словенно забыл об этом. Мы перестраиваемся порасчетно. До передовой, оказывается, еще порядком.

И снова дорога. Теперь я — наводчик, и потому тащу минометный ствол и футляр с прицелом. Вьюка у ствола нет, истрепался, и потому я волоку его на плече, как бревно. С непривычки плечо сразу же начинает ныть. И я говорю себе: «Так тебе и надо, так и надо, не будешь только о себе думать, не будешь сразу падать ничком, как бы ты ни устал, потому что другие, может, устали побольше тебя, а ты, какой ни есть, но командир, даже если и нет у тебя полного расчета». Я ругаю себя самыми

последними словами, которые приходят на ум, и тогда мне становится вроде бы легче. Осознание вины все-таки облегчает, хотя и не снимает ее полностью. Ладно, остальное докажем в бою.

Слышатся нечастые разрывы. Значит, шагать осталось недолго. Сворачиваем с дороги в глубокий, изрезанный ручьями овраг. Идти по нему тяжелее, но безопаснее: в прояснившемся небе закружила немецкая «рама» — самолет-разведчик. Заметит — жди через несколько минут «юнкерсов» или «мессершмиттов».

Я перекалдываю ствол с плеча на плечо, пытаюсь нести его под мышкой, но все эти ухищрения ни к чему не приводят. С каждым пройденным метром он становится тяжелее и тяжелее. Только бы не отстать, не оконфузиться перед ротным и солдатами.

Когда мне кажется, что еще немного и я упаду, мы входим в изрытую окопами и землянками лесопосадку. Из-за ночного происшествия настроение у меня препротивнейшее. Даже обед показался безвкусным. Хорошо хоть выдали махорку, и я тяну сигарку за сигаркой.

У землянки ротного необычное оживление.

— Что там? — спрашиваю вернувшегося от ротного сержанта Федосеева, нового своего командира.

— Добровольцев на разведку боем собирают.

Разведка боем посложнее и поопаснее, чем просто общее наступление. На один батальон обрушивается весь огонь врага и хорошо, если уцелеет хоть половина бойцов. Но без такой разведки трудно выявить огневые точки противника, сосредоточение его танков и артиллерии, нащупать слабые места его обороны.

Я встаю и, ни слова не сказав сержанту, который отлично понимает мое состояние, иду к землянке ротного.

Командир роты, чувствуете, доволен моим решением.

Нас восемь человек. Попрощавшись с товарищами, мы идем на передовой край в расположение какого-то пехотного полка, куда стекаются добровольцы из разных частей.

Поздним вечером из нас формируют отделение, взводы, роты и выводят на позицию, откуда утром мы должны будем начать разведку боем. Окопы для нас открыты — нам нужно хорошенько выспаться и отдохнуть.

На рассвете начинается артиллерийская подготовка. Через полчаса поднимаемся в

атаку и мы. Нас поддерживают десятка полтора танков. Растерявшиеся было от неожиданности гитлеровцы спохватываются и открывают такой огонь, что не пробежав и ста метров по ничейной полосе, мы залегаем, пытаемся слиться с землей, вздрагивающей от разрывов снарядов и мин.

— Вперед! За Родину! Ур-ра!..

Да-да, черт с ним, с пулями и снарядами, надо идти вперед, потому что если атака захлебнется — все пропало, ничего нам сегодня уже не сделать.

Мы встаем, пробегаем несколько метров, падаем и встаем снова.

В тот момент, когда мы спрыгиваем в первую немецкую траншею и в упор расстреливаем все еще сопротивляющихся фрицев, я чувствую, как что-то горячее шлепает меня по спине, между лопатками. Выворачиваю руку — на ладони кровь. Боли нет, только почему-то начинает кружиться голова и немеет левая рука. И откуда-то появляется туман. Он сгущается и становится чернее ночи...

СОВЕРШЕННОЛЕТИЕ

Наш поезд не задерживают на станциях ни одной лишней минуты, потому что это не обычный — санитарный поезд. И на мягких, по-домашнему застеленных его полках лежат уже не бойцы, а раненые. И я — раненой. Вся левая рука, грудь и спина — в гипсе. Разрывная пуля, которую немцы зовут «дум-дум», раздробила предплечье, прошла около сердца и разорвалась меж лопатками. Хирург сказал после операции, что я родился в рубашке. Ребята смеялись — хороша «рубашка», когда чуть-чуть в ящик не сыграл. Но на фронте это «чуть-чуть» все и решает.

А немцев мы тогда выбили. Я понял это, когда очнулся уже ночью в той же траншее, на том же месте. Рядом со мной лежал мертвый немец. Возможно, потому санитары меня не заметили и прошли мимо.

Гимнастерка, брюки — в крови. Спину жжет каленым железом.левой рукой не могу шевельнуть: она висит плетью, словно чужая, пришпиленная. А правая — ничего, только затекла, пока я лежал без сознания, и теперь ее пронизывают тысячи тончайших иголок. Но это быстро проходит. Опираясь о стенку, я встаю. На эту «операцию» уходят почти все мои силы. А надо еще нагнуться и взять винтовку. Слышу чей-то негромкий стон. Окликаю. Это Коля Турмасов из нашей роты. — Чего, спрашиваю, сидишь? — «А куда идти» — «Помоги винтовку поднять, пойдём куда-нибудь».

Мы идем на восток, в тыл, туда, откуда начали наступление. Недавние наши окопы пусты. Мысленно я прощаюсь с ними. Теперь долго не придется их рыть.

Где лесопосадка с нашей ротой — не знаю, но сообразил сориентироваться раньше, когда нас какими-то загогулистыми тропами вели на передовую. Турмасов падает духом: «Еще на немцев нарвемся». «Дурак, — говорю, — какие немцы, когда мы их прогнали...». «Здесь-то прогнали, а там сидят». И будто в подтверждение его слов справа от нас взлетают несколько немецких ракет, и тишину разрывает короткая пулеметная очередь. Забираем круто влево и вскоре натываемся на артбатарею. Артиллеристы устроились неплохо — в глубокой и просторной землянке. На широком столе горит сделанная из снарядного патрона лампа. Рассказываем, как и что. Нам тут же открывают мясные консервы, режут хлеб — подкрепляйтесь перед дорогой, братцы. Кто-то бежит доставать транспорт. От тепла и усталости клонит в сон. Широкоскульный усач тормозит меня:

— Ты ешь, сынок, ешь... А спать тебе сейчас нельзя, никак нельзя. Потом отоспишься, времени хватит... — и начинает кормить меня с ложки.

Я почти бессознательно жую.

— Пить...

— Ко мне тянутся сразу несколько рук с фляжками.

А потом нас укладывают на телегу, устланную свежей соломой и строго наказывают ездовому ехать поосторожнее. Вначале это удается. Привыкшие ко всему кони не шарахаются ни от ракет, ни от редких разрывов пушеннх наугад снарядов. Но когда мы каким-то образом очутились на ничейной полосе и немцы открыли по нам пулеметный огонь транслирующими пулями, лошади понесли. Ездовой, не пытаясь даже их сдержать, по-моему, просто-напросто положился на их чутье. И не ошибся. Тяжело всхрапывая, все в мыльной пене, минут через двадцать бешеной скачки, они остановились возле избы, где разместились приемный пункт медсанбата.

Перевязка, санитарный автобус, полевой, а затем стационарный госпиталь в Сталино.

Я — на операционном столе. Их десятка полтора-два таких столов, в два ряда стоящих в бывшем спортивном зале бывшей школы. И к ним очередь — огромная очередь в длинном обшарпанном коридоре. У хирургов красные от бессонницы глаза и охрипшие голоса.

Надо мной склонилась медицинская сестра — молодая и красивая. В руках у нее

фотокарточка Вали. Она увидела ее среди моих документов и теперь спрашивает, кем мне Валиа доводится. Я отвечаю: невеста.

— Я ей завидую, — говорит, улыбувшись, сестра, отвлекая мое внимание от каких-то манипуляций другой сестры, стоящей у моего изголовья. — Ты скоро приедешь к ней, вы поженитесь, у вас пойдут дети, и не будет тогда никакой войны, и вы будете ходить с ней по освещенным улицам, и будут звенеть трамваи, и не надо будет прятаться от самолетов, бомб, снарядов... Хорошо будет, правда?

— Правда, — говорю я, замороженный ее мягким, ласковым голосом.

— А сейчас лежи спокойно, вдыхай глубоко и считай: раз, два... Она берет из рук той, другой медсестры маску, накладывает на мое лицо и начинает лить какую-то жидкость с резким, дурманящим запахом. Я верю ей, всем словам ее верю и потому начинаю считать, ни о чем не спрашивая.

— Раз, два... пять... восемь...

— Глубже вдыхай, дорогой, глубже...

— Шестнадцать... двадцать, двадцать один....

В голове начинает туго звенеть, звон нарастает, и я проваливаюсь в тартарары.

...И вот теперь поезд мчит меня в глубокий, глубокий тыл, где нет ни бомбежек, ни порохового дыма, но нет и фронтовых друзей, с которыми бок о бок прошел рвонехонкое семейство километров, если считать по прямой, по смертельным фронтовым дорогам.

Завтра мне исполняется восемнадцать лет.

До войны у нас в семье, пожалуй, ни один праздник не отмечался так, как мой день рождения. И ко мне всегда приходили мои закадычные друзья: Володя Антонов и Борис Бубнович. Жили они через улицу, двор у них был просторнее нашего и удобнее для игр, и мы подружились еще до школы.

Последний перед армией день рождения я не праздновал — в доме не было даже хлеба, чтобы угостить гостей. Я пришел из школы, выслушал поздравления смущенных родителей — большего они для меня сделать не могли, — и, похлебав какой-то баланды, завалился на кровать с книжкой в руках.

Часов этак в пять влетает Володя и говорит, чтобы я шел к Борису. Есть, мол, важное и неотложное дело. Я даже рад был, что Володя не поздравил меня: ну, забыли ребята, до того ли, да и чего вспоминать рыбные пироги и биквиты, которые так великолепно умела печь моя мама. Я по-

просил Володю обождать, но он ответил, что должен забежать еще в одно место.

Шумный когда-то двор был уныл и пуст. В эту зиму не заливали коток и не делали горку. На углах домов пестрели таблички-указатели входа в бомбоубежище. Борис жил в глубине двора, в одноэтажном флигеле. К нему вела узенькая среди высоких сугробов дорожка. Я уж давно, чуть ли не с месяца, не был у Бориса: чаще сходились у Володи, в большой и просторной квартире.

Дверь мне открыл сам Борис. Был он в ослепительно белой рубашке с расстегнутым воротом — галстуков мы не признавали — и весь светился, словно получил повестку в военкомат.

— Володя пришел? — спросил я.

— Ага, ждет.

— А что за дело и по какому поводу ты так вырядился?

— Сейчас узнаешь, проходи...

Посреди комнатухи, которую занимал Борис, стоял стол, заваленный, как мне показалось, одними газетами. Над столом горела стовечная лампочка. Кровать Бориса, состоявшая обычно из вороха постельных принадлежностей, была аккуратно застелена, и книги на этажерке тоже лежали не как попало, а стояли точно по росту. И, вообще, комнатухе был придан торжественный, праздничный вид.

Борис обнял меня со спины, повернул к себе:

— Ну, с днем рождения тебя!..

За спиной зашуршало. Это Володя сдернул со стола газеты. Я оглянулся и обомлел. Все было, как в добрые мирные вре-

мена, разве в уменьшенном масштабе. Даже несколько ломтиков отливающей розовым закатом семги лежало на одной из продолговатых тарелочек. В графине посверкивало красное вино, горочкой был нарезан белый-белый хлеб, открыты банки шпрот, фаршированного перца...

К горлу подкатил комок, и я был готов разреваться от радости. Нет, не от радости полуголодного человека, которому предстоит попробовать все эти яства, а от той необыкновенно светящейся радости и благодарности судьбе за то, что она не обошла меня такими преданными друзьями.

С того вечера прошел год. Свои восемнадцать я встречаю в пути. И я вспоминаю, как однажды всегда уравновешенный Григорьич сорвался вдруг с места и кинулся к солдату моего возраста, ну разве чуток постарше:

— Сашок, родной! Выздоровел?

— Выздоровел, Григорьич. Как видишь...

— Соскучился? Как нас-то разыскал? Я уж думал — на другой какой фронт тебя турнули. Да садись, рассказывай...

А тут из других расчетов подошли, окружили парня по имени Сашок, похлопывают его, ощупывают, зовут наперебой каждый в свой расчет. А Сашок улыбается счастливо и не знает, что сказать, что ответить.

Я догадался, что Сашок воевал в нашей роте, был ранен и вот теперь возвратился, и все ему несказанно рады, потому что он наверняка очень хороший боец и товарищ.

И тогда еще я подумал: «А как-то встретят меня, если я вернусь в роту после ранения?...».

Николай Домовитов

Летом прошлого года в Кузбассе побывала группа донецких писателей. Они познакомились с нашей Кузнецкой землей, встречались с шахтерами, строителями, химиками.

У донецкого поэта Николая Домовитова впечатления от этой поездки вылились в небольшой цикл стихотворений, который мы и предлагаем вашему вниманию.

ДО СВИДАНИЯ, СИБИРЬ!

Взят билет.

Я завтра улетаю.

Что-то сердце тянется домой.

И пока не ведаю, не знаю,

Скоро ль снова встретимся с тобой.

Самолет рванется острокрыло

Над тайгой, над лентами дорог,

Над землей, что щедро подарила

Новых песен полный туесок.

И когда тоскливо и тревожно

Сердце вновь замается в груди,

Переспевшей ягодой таежной

Ты в него тихонько упади.

● ● ●

Не шумит сибирская тайга,
Вдаль тебя уводит по тропинке.
Вот косуля вскинула рога,
Стряхая на землю росинки.
И поет восторженно глухарь,
Робкий лист осинника колышет.
Если хочешь — выстрелом ударь,
Все равно его он не услышит.
Бьется сердце в маленькой груди,
От любви и счастья изнывая.
Лучше в небо туйку разряди,
Потому что в песню не стреляют.

ТУЕСОК

Я сегодня, словно именинник.

По тайге шагаю напролом.

Осыпает ягоды малинник,

И хрустит в распадах бурелом.

Все сегодня близко и возможно.

Как на радость новую намек,

Зреет песня ягодой таежной,

Чтоб упасть из сердца в туесок.



Ах, ты речка, речка Томь,

Речка-сибирячка!

Ты души моей не тронь:

На душе — болячка.

Не плечи седой волной

В берега крутые,

Ведь мы встретились с тобой,

Милая, впервые.

Не залей прибрежный луг,

Где медовый клевер.

Я всю жизнь бегу на юг,

Ты бежишь на север.

У КОСТРА

Такую ночь придумать невозможно.

Туманом зябким тянет от реки.

И, словно звезды, в огнище таежном

Чуть-чуть мерцая, тлеют угольки.

Все песни спеты. Гаснут папиросы.

Никто не тронет тонкую струну.

И я молчу. И слушаю, как росы

Садятся в зоревую тишину.

НА РАЗВИЛКЕ

РАССКАЗ

1

Парень был самой обыкновенной наружности: невысок, жидковат, русоволос. На плечах — прадедовский, заплата на заплате, полушубок. На поясе из бечевы висел пожухлый косач, полуоципанная дробью. Ничего особо примечательного не было и в голодных провалах щек, и в драной шапочке, и в солдатских башмаках с обмотками. Но глаза! Глаза загнанной куницы — горящие, дерзкие, без тени страха. Взгляд паренька бил, как плетью, пронзал насквозь, внушал симпатию или вызывал ненависть.

— Пошто вором ходишь возле хутора? Пошто не знаю тебя? — Демьян Ряскин, хозяин из крепких да кряжистых, пытливо разглядывал незнакомца. — Не ты ли давеча спер мешок семян из амбара? Может, и милиционера... того... пристукнул?

— Говорю тебе, дед, не слыхал ни про убийство, ни про твои семена. Второй день в тайге.

— Правду говорит парнишка, — вязалась краснощекая рослая Дуська, — из села он, Варвары Ласточкин сын. Пришел зимой чуть тепленький, весь в бинтах, и говорит мужикам: «Али помру под родной крышей, али дух от землицы весной на ноги поставит».

Старик Ряскин грохнул ногой об пол.

— Цыц, Евдокея! Мужики болтают — не дело бабам вступать!

— Хочу и говорю, — фыркнула девка, стегнула обоих дерзким взглядом, гордо покинула комнату.

— Значит, ты и есть Кешка Ласточкин, что в партизанах сидел долго? Разбогател али все в бедняках?

— Не видишь, что ли?

— Пошто сельсовет сапоги не справил за твои великия геройства?

— Отдай, старик, берданку. Да накормил бы, чем пытаться.

Кого угодно заставили бы повиноваться Кешкины глаза, но не Ряскина.

Старик степенно разглядил бороденку, сел на лавку.

— Мы уже вечеряли, а для одного стол собирать негоже. — Он демонстративно снял сапог. — Ступай на сеновал. В избе места нет для спанья: вишь Дуська-крестница гостит, ей особая горенка. Не с ней же тебя положу. — Ряскин снял второй сапог. — А по тайге шастать не время. Максимке-то, милиционеру, говорят, голову отсекли. Во! Начисто. — Он повесил портянки на поленья за печкой, повернулся к образам: — Спаси, царица небесная, души наши грешные. Ну иди, парень, с богом. Работник собак попридержит.

2

«Крестный — известный скупердяй, — подумала Дуська, — не больно-то разбежится с угощением». Жалеючи голодного парнишку, она принесла на сеновал краюху хлеба с полоской пахнущего чесноком сала.

Кешки в сенном сарае не оказалось.

— Неужто вору подсобила? — ужаснулась Дуська.

Она скатилась на землю по занавоженной, мохнатой от сена, лесенке, огляделась. Луна заливала весь хутор мертвящим светом. Рослые дворняги металась вокруг Дуськи, игриво рыча и вырывая друг у друга комок темных перьев.

— Ловкач! Собак приманул!

А вот и он! Ссутулившаяся в три погибели фигура копошилась у амбарной двери.

Дуська вдруг развеселилась: воришке и до утра не осилит амбарный запор. Демьян Ряскин — ушлый мужик, если платил, то за дело. Все замки его были плотничские, увесистые, громоздкие, с секретками, совсем не похожие на привычные городские замки. Любил Демьян, чтоб носить ключ на плече, чтоб пахло стариной, достатком, умением хозяйничать.

Каково же было удивление Дуськи, когда донесся глухой звук упавшего засова и протяжно заскрипела дверь!

— Конечно, он утащил мешок! Понравилось, и еще пришел.

Веселость Дуськи не проходила. Вор был в ее руках. В любое мгновение она могла поднять шум, натравить собак. Дуська наслаждалась неожиданным приключением!

Она бесшумно приблизилась к закрывшейся двери. Заинтригованные поведением Дуськи дворняги шли по пятам, навострив уши.

Дуська опустила на колени, заглянула в кошачий лаз: парнишка искал что-то, подняв над головой огарок свечи. Озабоченный и суровый, он показался Дуське очень привлекательным. В мальчишеских чертах проступил неожиданно мужчина, мужественный, сильный, с откровенным взглядом. Такой душу выложит, а своего добьется. Дуське даже стало жаль, что у амбарного вора такое лицо.

Но тут же ее мысль метнулась в другом направлении.

— Господи! Какой глупый вор, ружье у порога оставил...

Она набралась смелости, резко распахнула дверь и схватила берданку.

3

Дуська недоверчиво рассматривала прямоугольник картона величиной с пол-ладони. Посередине — красноармейская звезда, намалеванная чернилами. Бурые разводы и пятна покрывали большую часть аккуратной надписи под ней: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!».

На развороте старательно было выведено от руки «Мандать». И далее, с соблюдением старых «и», «ятей», «еров», сообщалось, что мандат красного милиционера выдан товарищу Ласточкину И. С. Предшественники Ласточкина — две фамилии одна над другой — были жирно перечеркнуты

химическим карандашом. Внизу, у самой кромки с бурыми кровяными разводами, пунктуально перечислялись исправления с указанием, что «исправленному верить», с печатями и росчерками, повторяющимися в разном исполнении одну и ту же подпись председателя сельсовета. В мандате говорилось также, что оный выдан для поддержания порядка в селе, на дальних и ближних хуторах и заимках. И еще. Всем, поддерживающим советскую власть, предписывалось оказывать действительную помощь Ласточкину в деле разгрома мировой контры.

— Значит, не вор? Это хорошо, — Дуська прислонилась к стене берданку, села на крышку ларя, — ешь, ешь, не стесняйся.

Красный милиционер с серьезным видом уплетал Дуськин хлеб.

— Димка-то Бусыгин от милиционерства отказался, потому и вычеркнут?

Кешка кивнул.

— А Максимку Епифанова и впрямь... убили?

— Да.

В Дуське с новой силой вспыхнула жальность к голодному милиционеру.

— Бедненький, тебя-то за что на верную смерть толкают?

— Никто не толкает.

— Сам спросился?!

— Сам.

Кешка поставил свечу на пол. Мутнеющая цепочка восковых пятен легла на массивные доски-брусья. Ласточкин настойчиво что-то искал по сусекам, в углах, замусоренных щелях.

— Я был у плотника, который поставил Ряскину все замки, — неожиданно сказал он, присев рядом с Дуськой, — никому секретов тот плотник не высказывал... Не мог вор вынести мешок через дверь. А окон в амбарах не делают.

Дуська на некоторое время разочаровалась в Кешке.

— Там Максимку... а ты с мешками.

Кешка ничего не ответил. Забрав свечу, он поднялся на вышку амбара, где обычно хранилось семенное зерно и особо ценные хлебобродушки, долго расхаживал, постукивал, ощупывал, затем спустился вниз. Дуська сидела на прежнем месте, позевывая в кулак.

— Нет другого лаза, — Кешка был мрачен, — мешок вынесли через дверь.

— А тебе какое расстройство?

— Максимка шел сюда из-за этого мешка. Но не дошел. Подкараулили на развилке.

Пока милиционер настраивал систему хи-

трудолюбивых заповоров, запустив руку по локоть в замочную скважину, пораженная Дуська задумчиво брела по двору, не замечая обалдевших от радости псов.

Огромная тяжелая луна завязла в верхушках елей. Изба Демьяна Рясина выросла в серебряный дворец, рубленая по-черному баня превратилась в ледяную глыбу посреди огорода, а старый вросший в землю овин...

Дуська вскрикнула, подбежала к Кешке:

— Глянь!

Над овином тонкой струйкой вился дымок.

4

Овин стоял на задворках, у самой опушки. Черная тень леса шапкой-невидимкой отхватила его большую часть, оставив луне бревенчатый угол.

Тишину всколыхнул звонкий ледяной хруст. Кешка замер на полушаге. Дуська не дышала, это она влетела в подмерзшую лужицу.

Овин безмолвствовал.

Ласточкин подкрался к приоткрытой дверце прируба. В лицо пахнуло теплом, хлебной гарью, острым запахом дегтя. Не колеблясь, он проскользнул в дверную щель и растворился в крошечной тьме.

— Ну, что? — донесся до Кешки встревоженный шепот Дуськи.

Он медленно продвигался вперед. Под ногами горбились земляные ступени. Неожиданно ствол уперся в бревенчатую стену. Опустившись на четвереньки, Кешка отыскал подлаз, протиснулся в самое сердце овина, яму.

У самых ног тлели угли. Ласточкин разворошил их носком ботинка, угольки всплакнули робкими язычками пламени. Темнота отступила, обнажив стены из обожженной глины, земляной пол, потолок в гирляндах сажи.

Ласточкин окинул взглядом освещенное пространство. Добрая пригоршня зерна была рассыпана по полу, в тлеющих комках можно было различить все ту же крупную семенную пшеницу.

— Скажи, Евдокия, кто из хуторских мазал сапоги дегтем?

Дуська вползла в яму, с любопытством огляделась.

— И крестный, и крестная, и работник...

— Кто-то из них зерно сжег. Чуешь, дегтем пахнет?

— Я тоже намазала, — Дуська, подобрав подол, выставила ногу.

Кешка нахмурился, отвел взгляд от ее чулок, запачканных глиной.

Дуська склонилась над костром, задумалась.

— Мужик не станет хлеб жечь.

— Кулак и мать родную сожжет, была бы корысть.

— Крестный не кулак!

— Но лезет в кулаки! Работника заимел. Кешка осмотрел каждый вершок ямы, заглянул в прокопченные пазухи, идущие под настил для снопов.

Дуську вдруг осенило, глаза в ужасе округлились:

— Думаешь, крестный заманил Максимку?!

Совсем близко, в лесу, жутким голосом прокричала ночная птица. Оба вздрогнули, переглянулись.

— Неясыть, — прошептала Дуська, — не добру...

— Кто сжег зерно, тот и заманил, — сказал Ласточкин, — другого не вижу.

Они выбрались в подлаз, полезли вверх по ступеням, держась друг за друга.

— Постой, я выгляну, — шепнул Кешка.

Он нащупал грубо сколоченные неструганые доски прямо перед собой, легонько толкнул затем еще раз, посильнее и тотчас отпрянул: дверь была приперта снаружи.

5

Страх парализовал обоих, пришел к земляной стенке, сплел пальцы в коченеющий клубок. Кешка ждал выстрела, мысль бешено работала, ожидание напрягло нервы до предела. Дуська бездумно шептала молитву.

Безмолвие нарастало снежным комом, неудержимой лавиной, и когда обернулось невыносимым грохочущим набатом, Кешка дернул за спусковой крючок...

Выстрел заполнил все вокруг долгим монотонным звоном. Словно в вату залаяли хуторские собаки.

И снова тишь. Неясыть молчала, потревоженная выстрелом. Хутор спал. Но вот далеко-далеко, на краю света, хрустнул ледок. Кешка оттолкнулся от стенки и изо всех сил ударил плечом в дверь. Подпорка с треском переломилась, Ласточкин кубарем вылетел из прируба. Обломки пересушенной жерди, которую когда-то использовали для насадки снопов, валялись тут же, на земле, усыпанной соломой.

Озираясь, Кешка и Дуська прошли через двор, остановились в тени сенного сарая.

— Страх-то какой! — шептала Дуська, прижавшись к Кешкиному плечу. — За каждым углом чудится по мужику с топором... Отдай, Кешка, обратно бумагу. Как Димка Бусыгин, отдай. Его ведь никто не страмит за это.

— Иди спать, я уж сам подумаю, как мне быть.

— На сеновал пойдешь? Вдруг там ОН дожидается?! — Дуська схватила его за рукав.

Кешка вырвал руку и рассерженно прошипел:

— Побереги лучше своего нареченного Микишку, чтоб с кулаками не якшался.

— Дурень, — устало, совсем по-бабьи, сказала Дуська, — как есть дурень. — И медленно пошла к избе.

В сенях она столкнулась с Ряскиным.

— Ты чего шатаешься по ночам?

— По надобности вышла, — Дуська прибивала как можно равнодушной. — Однако стреляли где-то...

— Далече, выстрел слабоват.

Засыпая, Дуська краем уха уловила лошадиное всхрапыванье и стук колес. Она вскочила, прильнула к оконцу.

Белесый рассвет затянул серой мешковиной и небо, и землю. Темными сгустками угадывались лошади и человек на телеге.

Сердце екнуло в предчувствии беды. Дуська босиком, в нижней рубашке выбежала на крыльцо.

— Эй, крестный, куда собрался на моей кобыленке?

— В село, — с готовностью ответил Ряскин, придерживая лошадь, — ты погостишь еще, а отцу твоему как без тягла?

Кешка вынырнул у лошадиной морды, положил руку на оглоблю.

— Подвезешь? А то пешком до села — семь верст.

— Я тоже поеду, — мгновенно решила Дуська.

Старик не ответил, нахохлился. Заскорузлые пальцы рассеянно теребили вожжу.

6

Утро было пасмурным. Телега мерно катила, постукивая на осклизлых корнях и ухабах. Под вековыми елями слезились последние островки снега. На песчаном косогоре словно вызвездило: все покрыла желтизна мать-и-мачехи. В воздухе, несмотря на сырость, носилась пыльца с сережек красной

вербы и невзрачных осинок. Уже гудели первые пчелы. Резким зигзагом пронеслась весенняя бабочка и тут же скрылась, будто испугавшись собственной смелости. Голубой каплейкой подрагивал первый цветок перелески, и, глядя на него, таежный житель видел конец холодам.

Как ни хотелось Дуське спрыгнуть с телеги и пойти лесом, среди набухших почек, проглянувших повсюду ростков, как ни хотелось сорвать молодую верхушку сосенки, ощутить ее острый с кислинкой вкус, она продолжала сидеть, тряситься на телеге, молчать, чувствовать каждой частицей тела томительную неизвестность. Кешка держал берданку на коленях. Ряскин украдкой бросал быстрые взгляды по сторонам.

Кешка первым нарушил молчание.

— Скажи, дед, как это у тебя мешок унесли?

— Я знаю? Унесли и все.

— Но замки твои знамениты, вор не отпрет. И ключ у тебя целый, не уворован. Может, сам зерно припрятал?

— На кой черт мне прятать? Советы уже взяли, сколько нужно. Остальное мое.

— Тогда вор — твой хороший приятель, раз так просто взял ключ из избы, а потом повесил на место.

Старик вспыхнул.

— У меня сперли, и меня же страмит! Ты лучше скажи, коль такой умный, пошто у нас все еще продразверстка, а в центральных губерниях, в России, уже продрналог?

— Потому что у нас милиционерам головы рубят! — почти закричал Кешка. — Заманивают, ловят на глухих дорогах, а вместо обреза — плотничьи топоры. Елочкой рубят, в глубинку, чтоб страшней было!..

— Э-вон, куда занесло! Уж не считаешь ли меня убивцем?! — старик спрыгнул с телеги и едва удержался, чтобы не огреть Кешку концом вожжи.

Кешка сбавил тон.

— Не знаю, что у тебя за душой, но грешен, вижу.

— Мои грехи не пахнут кровью, господь свидетель!

Незаметно подъехали к знаменитой развилке. Все вокруг заросло черемушником. Под ногами чавкало и брызгало, началась согра.

В лесном шорохе едва различалось далекое чуфыканье косачей. Одинокий бекас придавленно блеял в свинцовом небе.

— Хочешь, дед, погадаю?

— Подь ты к чомару!

— Скажу, что было и что будет.

— А подь...

— К примеру, твой мешок с пшеницей 49

сгорел сегодня ночью в твоём же овине.

Ряскин выпучил глаза.

— Не знал? Так-то приятель твой хороший благодарит за хлеб-соль...

Дуська охнула. Старик туго натянул вожжи. У самой дороги в кустах стоял здоровенный детина, обросший по самые глаза густой бурой шерстью.

7

— Брось берданку, парень, — бандит держал ржавый куцей обрез в вытянутой руке. Леденящий зрачок ствола заглянул в Кешкины глаза. Толстый красный палец с грязной каемкой под ногтем подрагивал на спусковом крючке.

— Заартачишься — в лоб всажу.

— Не надо крови, — забормотал Ряскин, втянув голову в плечи, — богом заклинаю...

— Лошаденка нужна, только и всего, — детина осторожно, шаг за шагом, приблизился к телеге, затем прыгнул, вырвал берданку и швырнул за спину далеко в черемушник.

На шее Ласточкина вздулись жилы, кончики пальцев, вцепившиеся в облук телеги, побелели.

Бандит заставил старика с Дуськой распрягать, а Кешку толкнул стволом обреза с телеги.

— Выворачивай карманы.

Мандат привел его в восторг.

— По тебе и тоскую, голубчик! Я-то гадал, кто следующий?

— Значит, ты был в овине? — Кешка с ненавистью смотрел в волосатое лицо.

— Разглядел все-таки, змееныш?!

У Дуськи подломились колени, и она повисла на оглобле. Ряскин, торопясь, дергал за гуж.

— Бандюга. Недобитый колчаковец? Или просто кулак-живоглот, из тех, кто сельсоветы жгут?

— Молиться будешь, али так?..

— Украл у благодетеля мешок зерна,

чтоб заманить Максимку в засаду...

— И тебя.

— Врешь! Меня ты испугался, бежал из хутора без оглядки! Даже лошадь не вывел из стойла. Успел только шепнуть старику, чтобы пригнал лошадь следом. А то до банды далековато, ноги можно промочить, хоть и смазал сапоги дегтем.

— Ученая милиция пошла нонче, — бандит залихватски сплюнул сквозь зубы, — ученого всегда приятнее шлепнуть. На том свете больше спишется.

Дуська на время забыла об опасности, толкнула старика в грудь.

— Так вот почему мою кобылу запряг!

Детина расхохотался. Ствол обреза запрыгал перед глазами милиционера. Следующий удобный момент навряд ли наступит, и Кешка ударил по руке с обрезом.

Громыкнул выстрел. Полураспряженная лошадь опрокинула Ряскина и помчалась в болото, волоча телегу за одну оглоблю.

Кешкин вопль умчался вслед за выстрелом.

— Беги в село, Дуська!

Милиционер и бандит, вцепившись друг в друга, покатались по мокрой земле.

Ряскин дотянулся до обреза, вскочил на ноги, да так и остался стоять на самой развилке, в нерешительности и болезненном раздумье.

Многочисленным эхом бился крик Дуськи, замирая:

— Убива-а-ают... помоги-и-и...

Огромные руки вдавили Кешку лицом в прелую листву, упорно подбирались к горлу. Но Кешка, тощий, жилистый, гибкий, как черемуховый прут, все-таки выскользнул, одолел. И вот уже бандит задыхается, всхлипывает, ловит большим ртом сырой таежный воздух, пытается убежать, исчезнуть, раствориться в голой чаще. Тщетно! Кешка не выпустит его. Ни за что на свете! Ни перед какой угрозой! В такие минуты и смерть не властна над человеком. Ибо Кешка дерется не просто с убийцей. Кешка ведет свой, классовый бой.

Петр Шманов

ХЛЕБ

РАССКАЗ

Этого человека я видел один раз, остался он в памяти навсегда.

Небритое, с квадратным подбородком лицо. Морщинистый лоб и мрачный, тяжелый взгляд. В руке — толстая бамбуковая трость.

Я вижу, как он уходит в конец очереди своей нелегкой и грузной походкой. Я не слышу его голоса. Но, наверное, голос низкий и добрый. Только глаза мутились болью.

Это случилось в военную пору, когда мы, пацаны, внутренне считали себя взрослыми и мысленно были там, на войне, куда ушли наши отцы.

Мы группировались по баракам. Ходили войной один барак на другой. Батальи устраивались не на живот, а на смерть. После каждой такой стычки матери по вечерам встречались и спорили, кто из детей виноват. Трелку мы переносили мужественно и даже на другой день этим бахвалились. Но бывало время, когда соседние бараки объединялись и ходили войной на другую улицу. Таким способом мы разрешали принципиальные вопросы...

Больше всего я водился с Петькой Кондрашкиным, Жоркой Климовым, Колькой Рондиком и Ванькой Комолятовым. Мы каждый божий день встречались у насыпи железнодорожного полотна и разрабатывали план набегов на совхозный сад, на пруд, где водились маленькие караси, запретные для лова городским. Неизменным оставалось одно. Мы с вечера занимали очередь

за хлебом в белом магазине. Он давно уже был не белым, а каким-то серым, изжелта. А может и потому так его называли, что он был хлебным. Хлеб тогда был мерилем всех ценностей.

Моя мать, как и другие матери, чуть ли не круглые сутки находилась на стройке. Если мы не забивались игрой в бабки, приходили к магазину засветло. Я и сейчас отчетливо помню крохотное окошечко, через которое принимали хлеб, а потом отпускали по карточкам. Окошечко было овеяно такой глубиной тайной, что мы подходили к нему с замирающим сердцем.

Тощая высокая старуха с тонким визгливым голосом торжественно проходила вдоль очереди и, слюня химический карандаш, ставила каждому на руке номер по порядку. На моей ладони синела цифра 263.

Предосенние вечера сильно холодали, и нам приходилось туговато в поношенные рубашонках и штанах с большими «глазами» на коленях и заду. Особенно стыли мы ногами. К нашей партии подсаживались пацаны из других бараков.

Мы прятались от ветра за крохотной насыпью, в которой ночевал сторож. Объединял нас не только холод, но и разговоры о войне. Заводилой был Жорка. Его отец — летчик. Мы видели его фотографии, которые он присылал с фронта в первые дни войны. Жорка рассказывал удивительные истории. То, как отец посадил на наш аэродром сразу четыре «мессершмитта», то, как он с воздуха уничтожил половину немецкой армии, и, если бы ему хватило снарядов, то не было бы уже войны. И было бы вдовство хлеба.

— Фашист от него вправо, фашист от него влево, а папана ни на шаг от него. Патроны кончились, стрелять нечем... Тут он поставь самолет на ребро, да крылом как-как полоснет по фашистской спине, так на две половинки фашист и развалился. Вдребезги самолет фашиста... Папане орден дали новый... Вот. Орден уже седьмой. Слушайте вот, письмо прислал папана...

Милый мой друг, Жорка, и какую же надо было иметь силу воли в твоем возрасте, чтобы перехватить у почтальона похоронную, скрывать ее от матери и придумывать вечерами истории, что происходили с твоим отцом. Позднее ты мне показал эту похоронную. Она хранилась у тебя в жестяной коробке из-под тушенки под забором у дровяного склада. Потому ты и любил сидеть у того сарая часами.

В эту ночь ты, как обычно, рассказывал об отце. Потом мы читали наизусть письма своих отцов. Моросил мелкий дождь. Слабо

стался низовой, по-осеннему холодный, ветер. Мы жались, экономя тепло, но это мало помогало. Радовались, когда проводилась проверка очереди. Все-таки грелись. Дождь цедил до самого утра...

Хлеб привезли в половине шестого. Из-за угла городской бани оказалась хлебная повозка. С ее приближением воздух потеплел, стал сытным и духмяным. Враз забылось обо всем, кроме голода. Я кинулся искать свое место в очереди. Я хорошо помнил цифру 263. Спрашиваю. Будто бы здесь. Наконец-то... Меня просят показать номер. Но, к моему ужасу, на руке ничего нет. Как-то незаметно, в непогоду, карандашная отметка исчезла. Меня грубо оттолкнули. Мол, хотел так пролезть, ничего не выйдет. Тут люди бдительные.

— Да у меня очередь, тетенька... Моя здесь очередь... Стерлась... 263...

Ищу защиту у других женщин, но мне не верят. Уж слишком часто пытались ребята пролезть без очереди. К горькой обиде примешиваются горькие мысли: что же я понесу матери на обед? Кроме хлеба, нести нечего. Она будет ждать, как всегда. Усталая, с серыми натруженными от тяжелой работы руками. Будет сидеть и поглядывать, не появлюсь ли я. О трепке совершенно не думалось. Еще несколько раз

пытаюсь восстановить свои права. Напрасно. Слезы давно обжигают щеки. Не могу удержаться от рыданий. Мои друзья стоят в сторонке. Помочь они не могут. Очередь по-прежнему безмолвствует.

Я чувствую себя маленьким и бессильным перед большой и равнодушной очередью. А из повозки тянет таким жадно-вкусным запахом, что слюни забивают рот, не успеваю их сглатывать.

Не взять хлеба — значит беда...

Ко мне подошел Жорка. Он хмуро посмотрел на женщин и, давась за меня обидой, тихо сказал:

— У него папаня воюет, а мать на стройке, хлеб ей нести надо... И у меня папаня летчик...

Вот в это время и вышел из очереди тот человек. Лицо темное, с синими крапинами и суровое. Молча он подошел ко мне, взял меня за шиворот и поставил на свое место. Никто рядом не проронил ни слова. Я только и успел заметить в его глазах боль, такую глубокую, что стало страшно. Он молча шагнул в конец очереди. Тонко и длинно звякнули медали на его порыжелой гимнастерке.

В тот день, как всегда, я пришел на стройку к матери с обедом.

Владимир Мамаев

ВЕСНА

Апрельский день в разгаре,
Звенит упругая капель.
Ручьи растут, как на опаре,
Душистый воздух, словно хмель.
Пьянит и душу будоражит
И в строчку просится мою.
И как тут, право, не уважить
Ее Величество — Весну!
И я портрет ее рисую:
С улыбкой доброй на устах,
Обыкновенную, земную,
С девичьей ласкою в глазах.

Она, усталая с дороги,
Довольная, что добралась.
В реке полощет свои ноги,
Смывая километров грязь.
Мне скажут: пето, перепето,
Но я пишу. Строка моя
Теплом весны теперь согрета,
Омыта золотом ручья.
Весенней свежестью омыта,
Прозрачной, утренней росой.
А из ручья — как из арыка,
Пьет воду ветер озорной.

25 лет победы
над фашистской
Германией

Андрей Бедрин

МЫ — НЕ РАБЫ

Старший аппаратчик Новокемеровского химкомбината, младший лейтенант запаса Андрей Иванович Бедрин всю Великую Отечественную войну провел на фронте. За боевые заслуги Родина наградила его орденом Красной Звезды и тремя медалями.

Рассказ «Мы — не рабы», написанный на документальной основе, — первое произведение бывшего фронтовика.

1

После разгрома под Москвой и падения Калинина гитлеровцы поспешно отходили на линию Ржев — Сычевка — Вязьма и больших боев избегали.

В эту зиму морозы были небывало свирепыми. В иные дни они доходили до сорока градусов.

Стужа, непрерывные переходы, короткие, как вспышки, свирепые бои и бессонные ночи вконец вымотали людей.

И вот после взятия небольшого, но очень древнего городка на Волге, полк сняли с передовой.

Городок был не очень разрушен, предпримчивые старшины присмотрели дома для своих людей и ждали команды. Однако был получен приказ: полку следовать в район села Галутино, где и расквартироваться на отдых и пополнение.

Полк подняли по тревоге, и на следующее утро мы были уже в пункте назначения.

На месте села лежало огромное пепелище. Из четырехсот домов осталось не больше двадцати.

Было решено: в Галутино оставить штаб полка со всеми вспомогательными службами, первый и второй батальоны. Два других батальона направить в близлежащие села. Третий батальон в Антошино, а четвертый — в Смолянки.

Из всех батальонов полка третий понес самые большие потери. Теперь из всего батальона нельзя было наскрести и одной полной роты.

Антошино находилось в пяти километрах от Галутино.

Пять километров — час с небольшим доброго хода для солдата.

Как только вышли из Галутино, комбат подал команду идти «вольно». Сразу по колонне вспыхнул говор, тот говор, в котором трудно уловить, кто говорит и что говорит. В задних рядах заиграла гармошка, и чей-то простуженный тенор пропел забористую частушку. Все было забыто: жестокие бои, голод, холод, бессонные ночи и даже смерть. Сейчас мы думали только об одном — об отдыхе.

Замыкал колонну старшина Гаркуша со своим хозяйством: кухней, с парой низкорослых лохматых коньков-монголов, и еще тремя подводами с разным имуществом, которое старшина именовал «хабур-чебур».

Шли уже больше часа. Пора было показаться селу. А его все нет и нет.

На горизонте голубел далекий лес. Пря-

мо по дороге виднелось несколько одиноких деревьев. А промеж них вырисовывались какие-то непонятные короткие столбы. Они были совершенно черными.

Когда подошли ближе, оказались эти «столбы» трубами русских печей. Сплошной лес черных труб.

Смех и шутки стихли. Батальон без команд остановился, и бойцы сгрудились около комбата.

— Вот тебе и отдохнули. Суши портянки, ребята!

— Заткнись, брехал! — тут же оборвали остряка.

На улицах села, которые теперь можно было определить по рядам труб, на чистом снежном насте не было видно ни одного следа. Скворечники на редких голых деревьях вытекшими глазами черных отверстий безучастно смотрели на мир.

Тишина. Жуткая, мертвая тишина...

Только дыхание сгрудившихся людей да скрип снега под переступившей ногой нарушали ее.

Старший сержант Булыгин, который с тремя разведчиками вышел в Антошино раньше нас, появился будто из-под земли. Он лихо, как это могут делать только кадравики, козырнул комбату.

— Ваше задание выполнено: квартиры для батальона найдены!

Комбат явно был не готов услышать что-либо подобное.

— А... где же эти квартиры?

— Там, под горой, у речки. Блиндажи. Целый укрепленный лагерь. По предварительным данным, могу доложить, что стояли там эсэсовцы, — и, уже переходя на неофициальный тон, доверительно закончил: — Да вы не беспокойтесь, товарищ старший лейтенант, блиндажики что надо: стены фанерой обшиты, нары, печки-буржуйки. Словом, все — честь по чести.

Услышав, что их ожидают где-то совсем рядом теплые блиндажи, бойцы как стояли толпой, так и двинулись по дороге к речке.

Комбат хотел было подать команду на построение, но раздумал и сам пошел в толпе вместе со всеми.

2

Булыгин не обманул, блиндажи были действительно хороши. Скорее это были даже не блиндажи, а как бы модернизированные землянки. Крыши землянок, хотя и очень пологие, были двускатными. Над землей возвышались два звена сруба. Как крыша,

так и надземная часть стен обложены толстым слоем дерна. Внутри землянок стены и потолки были обшиты фанерой или тесом. Видно, что строил их человек с опытом: землянки в любое время могли быть превращены в дзоты.

В каждой землянке — стол, печка, двухъярусные нары. Продолговатые окна под самым потолком давали достаточно света.

Весь лагерь был обнесен колючей проволокой и высоким земляным валом.

Как удалось установить из разбросанных по всему лагерю бумаг здесь стоял батальон войск «СС» особого назначения.

Эсэсовцы так поспешно удрали, что оставили лагерь нетронутым. Даже на нарах лежали матрацы, перины, подушки и одежда.

Прежде всего мы принялись наводить порядок в землянках. Все немецкое барахло с нар выбросили вон... Вместо матрацев и перин постелили плащ-палатки, набитые лапником — ветками ельника. «Сидора» — вещицы мешки — служили подушками, а шинели — одеялами.

Горьковатый запах свежей хвои витеснил из землянок слащаво-приторную вонь, которую оставили после себя гитлеровцы.

Одну из землянок срочно переоборудовали под баню. Правда, топились она по-черному, но пропускная способность ее была просто феноменальной: за какие-нибудь два часа весь батальон был пропарен, прохлестан березовыми вениками, промыт и теперь сиял, что новый пятиалтынный.

Часам к трем дня в расположении батальона был наведен полный порядок.

С разрешения комбата старшина Гаркуша подал команду на обед.

Поротно, гремя котелками и кружками, все потянулись к сараю, что приютился в полугоре.

Сарай, как и говорил старший сержант Булыгин, пришелся старшине по душе по всем статьям. Он не только смог разместить в нем все запасы продовольствия и весь остальной хабур-чебур, но и нашлось место для имущества взвода связи. Да и сами связисты предпочли уютный сарай землянкам и поселились в нем. Старшина не возражал, усматривая в этом прежде всего свою выгоду: под рукой у него всегда были люди и в случае необходимости не нужно было идти в роты. Он уже успел воспользоваться даровой рабочей силой: связисты отгородили один конец под конюшню, сделали коновязь и смастерили навес в торце сарая, где разместилась кухня.

Сегодняшний день Гаркуша посчитал вроде праздника и потому разрешил повару

ефрейтору Сапожкову приготовить борщ со свиной, используя для этой цели особые мясные запасы.

По этому же случаю старшина дал указание Сорокину выдать не по сто граммов водки каждому бойцу, а по сто пятьдесят.

Ефрейтор Сапожков в белом колпаке, при фартуке, с огромным черпаком был необыкновенно торжественным. Макарыч, как называли его бойцы, имел прозвище дядя Хвост. Прилипло оно к нему с легкой руки старшего сержанта Булыгина.

Когда-то давным-давно Булыгин прочитал «Муму». И почему-то запомнился ему больше всех старший буфетчик дядя Хвост. И опять-таки почему-то он решил, что Сапожков очень похож на того дядю Хвоста, хотя ефрейтор и тургеневский буфетчик ничего общего не имели. И все же кличка прилипла к Сапожкову, что короста.

Вначале все шло, как надо: Сапожков наливал в котелок борща, клал приличный кусок мяса, которое было нарезано порциями и лежало отдельно в тазу. Затем боец подходил к батальонному «виночерпию» Сорокину, получал свою порцию водки и следовал восвояси.

И так — один за другим.

Подшла очередь разведчиков.

— А ну, Макарыч, зацепи-ка пожизне со дна, — Булыгин подставил котелок и оглянулся на очередь — Эге-ге, а какой хвост у тебя образовался, — и, шельмовато подмигнув бойцам, веско закончил: — Плохо работаем, товарищ Сапожков, очень плохо!

По очереди прошел сдержанный смешок.

Сапожков виду не подал и, как и всем, налил в котелок Булыгина борща, взял из таза кусок мяса, но прежде чем опустить его в котелок разведчика, спросил:

— Тебе мясо положено?

Булыгин улыбнулся наивному вопросу повара.

— Конечно, положено.

Сапожков положил мясо назад в таз.

— Следующий!

— А мясо, Макарыч? — напомнил о себе Булыгин.

— Какое мясо? — удивился Сапожков.

Тыкая пальцем в котелок, Булыгин объяснил:

— Мне мясо. Ты забыл положить.

Сапожков посмотрел на очередь, будто призывая в свидетели всех.

— Так ты же сказал, что тебе уже положено, — раздельно и очень спокойно ответил ефрейтор...

Булыгин растерянно заморгал глазами.

— Как так?!

— А так. Следующий!

Оглушенный хохотом очереди, Булыгин топтался на месте, не зная что ему делать. После недолгого замешательства разведчик понял свою промашку и поспешил исправиться:

— Да нет, Макарыч, я пошутил. Не положено мне мясо.

— А если не положено, так чего же ты требуешь?

Очередь стонала от хохота.

Старший сержант понял, что попал в заколдованный круг шутки Сапожкова и не знал, как ему выкрутиться из дурацкого положения.

— Ладно. Держи мясо, — пожалел Булыгина Макарыч, — пользуйся нашей добротой, Аника-воин!

3

Когда парнишка вошел в сарай — никто не заметил.

Макарыч, собравшийся было идти на кухню, увидел его первым.

— Ты кто такой?

— Серега.

— С неба что ли спрыгнул?

— Не. Я — тутешний.

Ему было не больше восьми. На плечах не то пиджак, не то кофта, старая и залапанная. На ногах — опорки, замотанные тряпьем. Голову прикрывала потрепанная кепчонка. Мальчик был очень худ и до прозрачности бледен. Большие серые глаза доверчиво смотрели на окружающих его бойцов. Странно было видеть такие глаза на худом детском личике. Такие глаза могли быть только у человека, который много прожил и многое пережил.

— Вы — красноармейские солдаты, да? — спросил мальчик.

Макарыч рассмеялся:

— Красноармейские. А ты, что же, один тут живешь?

— Не, с мамкой.

— И где же вы живете?

— А там, — и мальчик махнул рукой в раскрытые ворота сарая, — в Черном яру живем, в землянке.

Голос у мальчика стал глуше, отвечать стал он с каким-то усилием, будто что-то стало мешать открывать ему рот. Сапожков первым обратил на это внимание и присмотрелся к мальчику. А Сережа, не замечая, что за ним наблюдают, с жадностью глядел на котелок, который держал в руках один из связистов.

— Ты, наверное, есть хочешь? — спросил Макарыч.

Мальчик вздрогнул, покраснел и опустил глаза, словно его уличили в чем-то непристойном.

— Факт. Детьна исты хочет, а мы тут з ным балачки разводим, — недовольно проворчал Гаркуша.

— Хочешь? — переспросил Макарыч.

Мальчик поднял глаза, несколько раз кряду проглотил слюну и не в силах открыть рта, стянутого голодной судорогой, только кивнул головой и с такой мольбой посмотрел на Сапожкова, что тот смущенно отвернулся.

— А ну-ка, хлопцы, подайте кто-нибудь котелок, — попросил он.

Пока ефрейтор ходил на кухню, связисты заботливо усадили мальчика, положили перед ним несколько кусков хлеба и ложку.

Сереза давно не видел и не ел настоящего хлеба. Он даже, наверно, не помнил его вкуса. И с каким наслаждением он впился бы сейчас в него зубами! Но природная скромность и крестьянское понятие о собственном достоинстве сдерживали его. Он мужественно старался не смотреть на хлеб. И даже когда Макарыч принес котелок с ароматным, вкусно пахнущим борщом, и поставил его перед маленьким гостем, Сереза неторопливо, как это делают взрослые жители сёл, снял шапку, положил ее рядом. И прежде чем взять ложку, пригладил волосы. Потом все так же неторопливо и степенно он отломил небольшой кусок хлеба и, стараясь не обронить ни крошки, начал есть. И только мелкая-мелкая дрожь рук, трепет ноздрей говорили о том, какой ценной даются мальчику эти неторопливость и спокойствие.

Солдаты окружили Серезу плотным кольцом, и каждый старался проявить к нему свое внимание. Кто-то заботливо нарезал хлеб, кто-то подsunул в тряпочке соль, а кто-то раздобылся даже несколькими кусочками сахара.

Окончив есть, Сереза тщательно облизал ложку, смахнул крошки хлеба с доски и отправил их в рот.

— Спасибо, за хлеб-соль, дяденьки! — поблагодарил мальчик.

— На здоровье, сынок! — ответил за всех Макарыч, убирая котелок.

Глядя поочередно всем в глаза, мальчик спросил, указывая на остатки хлеба:

— Можно взять мамке?

— Конечно, конечно! — раздалось сразу несколько голосов.

Сереза собрал все куски хлеба и сунул их за пазуху. На сахар он разрешения не спросил, понимая, что лакомство предназначено только ему. Он извлек из кармана тряпочку, сложил в нее сахар и опустил узелок в карман.

Бойцы вспомнили, что за хлопотами и заботами о маленьком госте совсем забыли о самом главном — закурить после обеда. И теперь, рассевшись кто где мог, навостывая упущенное, задымили.

— А где сейчас твоя мамка? — поинтересовался связист с большими рыжими усами.

Сереза охотно ответил:

— В землянке. Болеет она.

— Что с ней?

Мальчик пожал худенькими плечами.

— А кто ее знает? Когда собирали на поле тугодню картошку, говорила, что у ней ноги болят, а сейчас на нутро жалуется.

— Пстой-ка, малец. Это как же понять: тугодня картошка?

Мальчик растерянно заморгал глазами.

На помощь ему пришел Макарыч.

— А что тут непонятного? Прошлогодняя, значит.

— Так она же гнилая!

— Ага, гнилая, — подтвердил мальчик. — А мы ее сушим, потом делаем из нес муки и печем тошнотики.

Рыжеусый связист не понял Серезу:

— Что печете?

И снова за Серезу ответил Макарыч:

— Из той муки лепят такие оладушки и пекут. Один только вид их вызывает тошноту. Знаем мы эти тошнотики!

— А где ж твой батька, хлопец? — спросил молчавший все это время старшина Гаркуша.

— На войне мой батька.

И неизвестно сколько бы еще продолжались расспросы, если бы не вмешался Сапожков:

— Ну вот что, мужики. Поговорили — пора и честь знать. Мальчонке надо к матери спешить. Больная она. Может, воды нужно подать или еще что.

— Ага, я пойду, дяденьки, — заторопился Сереза. — Она все спит. Говорит, чтобы я ее не будил. Так, говорит, нутро меньше болит. Я пошел, а она спала — вчера еще уснула. Дяденьки, милые, нет ли у вас фельшара? Мамке помочь надо.

— С фельдшером история такая, сынок: в Галутино он и будет только завтра, — с сожалением ответил мальчику Сорокин.

Сереза вздохнул.

— Ну, я тогда завтра приду.

— Погоди, я с тобой, — сказал Сорокин.

Сорокин вернулся часа через три, перед самым ужином. Вместе с ним пришел и Сережа. В руках мальчика был небольшой узелок.

Все, чем нагрузил его заботливый повар, отправляя к больной, Сорокин принес назад.

Принимая продукты, встревоженный ефрейтор спросил:

— Ну, что там?

— Умерла. Захолодела совсем. Ночью, а может вчера еще скончалась.

— Вот ты беда-то какая! Малец-то сирота теперь.

— Сирота. Только непонятный он мальчонка.

— Это как?

— Давеча говорю ему: «Мать-то померла». А у него хоть бы слезинка упала. Только разговаривать совсем перестал — молчит.

— Эх, Сорокин, Сорокин! Видать, горя он столько хватил, что и плакать разучился. Зачерствела душа-то, не принимает больше горя. Некуда!

Сорокин, озираясь по сторонам, будто опасаясь, что его могут подслушать, поманил повара пальцем и зашептал на ухо:

— Я давеча ничего мальчонке не сказал. А мать-то его наверно в лапах у фашистов побывала. Грудь-то правой у нее нет. Отрезана грудь-то!

Макарыч отшатнулся, уставился на Сорокина страшными глазами.

— Вот тебе крест — правду говорю! Ты только гляди, мальчонке ни-ни!

— Ну и ну! — еле перевел дух Макарыч.

А Сережа, как только пришел, забился в уголок и сидел там тихо-тихо.

Его пытались вызвать на разговор. Заговаривали с ним, а он только смотрел на всех широко открытыми глазами, налитыми нечеловеческой тоской, и молчал.

Мать похоронили на другой день. Хорошил весь батальон.

А Сережа и на похоронах не заплакал. Он только крепко-крепко схватил руку Макарыча своей ручонкой, да так и не выпустил до самого конца.

В этот же день под вечер Сорокин сводил мальчика в баню, подстриг и одел во все новое. Это обмундирование было шито специально по заказу для санинструктора батальона Веры, которую бойцы за ее маленький рост любовно называли «Малышкой». Погибла «Малышка», так и не успев надеть своего нового обмундирования.

Оно-то и пригодилось Сереже. Великовато немного, но пока лучшего не было.

Прошло два дня, а Сережа продолжал молчать. Пройдет к себе в уголок, сядет, уставится в одну точку и молчит.

А между тем в сарае началось паломничество. Приходили со всех рот: молодежь — просто из любопытства, а кто постарше и у кого там где-то остались дети приходил за тем, чтобы поглядеть на мальчика, сказать ему несколько ласковых слов и ненадолго погладить белокурую головку, такую же, как и у его Петяшки или Васятки. Словом, хоть немного заглушить неумную тоску по родной кровинушке.

Макарыч, добровольно взявший на себя обязанности опекуна Сережи, предупредил всех:

— Вы, ребята, вот что. Мальчика зря не тревожьте. Придет время — сам отойдет.

Так оно и вышло. На четвертый день после похорон матери Сережа сам пришел на кухню к Макарычу.

— Дяденька Макарыч, можно я вам чем-нибудь помогу?

Макарыч обрадовался:

— Конечно, можно. Я даже хотел попросить тебя помочь мне, — запарился я, брат-Серега. А ты вот сам пришел.

— А что мне делать?

— Вот видишь эти кастрюли? Они закопченные и вид у них, скажу прямо-таки, плачевный. — Макарыч понизил голос и доверительно сообщил Сереже: — Утром на кухне побывал старший лейтенант Мальков, так я тебе скажу, брат-Серега, и влетело же мне за них.

— Он сердитый?

— Комбат, что ли? Нет. Хороший командир. А когда заслужишь, стружку снимет по всем правилам. Бойцы любят его: справедливый он человек.

Сапожков поставил перед Сережей ведро с песком.

— Вот тебе песочек, а вот горячая вода и драй кастрюли, брат-Серега, до солнечного блеска. Ясно?

— Ага.

— Ну и порядок. Действуй, сынок.

Мальчик работал очень старательно: через два часа посуда на кухне сияла.

— Молодец, брат-Серега! — похвалил мальчика ефрейтор.

Сережа подошел к топке кухни и положил покрасневшие ладони на теплую стенку.

— Озябли? — обеспокоился Макарыч.

— Не, — задумчиво ответил мальчик. Помолчал, а потом неожиданно спросил: — А где я буду жить, дяденька Макарыч?

Сережа, конечно, догадывался, что в ба-

тальоне он находится временно и что рано или поздно ему придется расстаться с бойцами.

Вопрос мальчика застал ефрейтора врасплох, и он замешкался с ответом. Но потом решил: мальчику лучше всего сказать правду.

И ответил:

— Поедешь ты, брат-Сергея, в город и будешь там жить.

Как и предполагал Сапожков, мальчик воспринял его ответ очень спокойно.

— А в какой город, дяденька Макарыч?

Ефрейтор воспользовался слухом, что комиссар полка Васильев думает отправить Сережу в Калинин и сейчас занимается определением мальчика в один из детских домов города.

Так он и ответил мальчику:

— В Калинин, конечно.

— А Калинин большой город?

— Большой и красивый. На Волге стоит. Теперь, правда, немец и там много домов сжег, разрушил много, но для тебя место найдется.

— А школа там есть? Я учиться хочу.

Макарыч ласково потрел мальчика.

— Хорошо, сынок, очень хорошо, что ты учиться хочешь. Правильно думаешь, брат-Сергея. А школа там есть, и не одна. А ты, наверно, даже и азбуки не знаешь?

— Знаю. Я и писать умею и читать.

— Ишь ты! — удивился Макарыч. — Ты что же до войны в школу ходил?

— Не. Нас при гитлерах Наталья Петровна учила.

— Ты при немцах в школу ходил? — еще больше удивился Сапожков.

— Ага.

— Пстой, пстой, брат-Сергея! Ты что-то путаешь. Что же, выходит, немцы вам разрешили школу открыть?

— Они разрешат! Не, нас Наталья Петровна тайком учила.

— Вот оно что! — поразился Макарыч. — А чему же она вас учила?

— Читать, писать. Арифметике учила. Да я вам принесу сейчас тетрадку и покажу.

Сережа убежал в сарай и возвратился с холщовой сумкой, с той самой сумкой, с которой, вероятно, все дети деревень и сел России бегали в школу.

Из сумки он извлек очень потрепанный букварь без обложки, самую настоящую тетрадь, аккуратно обернутую газетой, и подал Сапожкову.

На обложке тетради было очень четко, красивым почерком, написано: «Тетрадь уч-ка 1-го класса начальной школы колхоза имени Ленина ЮШКОВА Сережи».

— Значит, ты Юшков?

— Ага. Наталья Петровна сама тетради надписывала.

Макарыч раскрыл тетрадь и увидел на первых листах очень старательно выведенные отдельные буквы. Дальше были написаны уже отдельные простые слова: «Мама», «Рама», «Рома», «Маша»...

— Скажи ты! Как в настоящей школе, а! Молодец ваша Наталья Петровна! — восторженно восклицал Сапожков, листая тетрадь. — Школа колхоза имени Ленина! Надо же было так написать, а! И немцев не испугалась! Где же она сейчас, ваша героическая учительница?

Мальчик сразу притих, сжался в комочек.

— Так где же она есть? — не замечая состояния Сережи, допытывался повар.

— Гитлеры исказнили ее, — глухо ответил мальчик.

— Казнили?! То есть как казнили?

Вздрагивая и поминутно озираясь, Сережа торопливо заговорил:

— Староста узнал про то, что она учит нас, пришел вместе с полицаем и заарестовал ее. Ох, и страшный был тот староста! Его наши Вонючкой прозвали. Воняло от него страшно как... Увезли Наталью Петровну в город и с неделю о ней ничего не было слышно. А потом привезли ее назад в Антошино. На другой день выгнали нас всех на площадь. А посреди площади ровно ворота поставлены. На перекладине веревка болтается. Привели Наталью Петровну. И не признать вовсе ее: лицо у нее черное-черное, а волосы на голове совсем белые. Поставили ее на скамейку, на шею веревку надели. А она как крикнет: «Да здравствует наша Родина!» Тут Вонючка скамейку как ногой ударит...

Мальчик весь дрожал. Он испуганно прижался к Макарычу.

Ефрейтор обнял его, прижал к себе.

— Да ты не бойся, дурачок! Больше сюда фашисты не придут, и Вонючки больше не будет!

— Его партизаны убили.

— Ну, вот видишь. А фашистов мы прогнали далеко и больше не пустим сюда.

Постепенно мальчик успокоился.

— А учительницу свою помни, брат-Сергея. всю жизнь помни Наталью Петровну. Большой она человек, героический!

Листая тетрадь, Сапожков дошел до последней записи в ней. Он как-то по-особенному посмотрел на мальчика и прочитал, отделяя каждое слово:

— «Мы — не рабы», «Рабы — не мы».

Правильно написано: мы — не рабы. И никогда ими не будем!

Макарыч собрался было уже закрыть тетрадь и вернуть ее владельцу, но вдруг он увидел строчку, написанную печатными буквами в самом низу листа: «Смерть немецким оккупантам!».

— А это тоже научила писать учительница?

— Не. Я сам с бумажки срисовал. Их у дедушки много было. Дедушка говорил, что эти слова самые главные.

— Где же он брал такие бумажки?

— Партизаны ему давали.

— Понятно. А дедушка сейчас у партизан?

Сережа потупился, отрицательно покачал головой.

Предчувствуя недоброе, Макарыч от дальнейших расспросов удержался.

Но Сережа заговорил сам:

— Дедушка часто ходил к партизанам. Свои все мужики в партизанах-то. Пойдет в лес, вроде за дровами, а сам — к партизанам. Как убили Вонючку, пришли в село гитлеровцы, стали постоем. Одеты они были в черные шинели, а на фуражках у них мертвяки и на рукавах — черные пауки в белом кругу. Отдали гитлеры такой приказ: никто из села не должен никуда уходить, а особенно — в лес. Кто ослушается, тому смерть. Дедушка не послушался и пошел в лес. Его и застрелили.

Мальчик смолк. Не зная, как утешить Сережу, Макарыч привлек его к себе.

— Да-а... — только и сказал ефрейтор.

Сережа заговорил снова:

— Когда убили дедушку, мамка отослала нас с Дуськой в Черный яр, в землянку. Яр — большой и глубокий. Туда никто не ходил — чертей боялись. Папка, когда еще на войну не ходил, вырыл там землянку. Так, на всякий случай. Туда нас с Дуськой и отослала мамка.

— Это кто же такая Дуська?

— Сестра моя.

— Оказывается, у тебя сестра есть?

Мальчик на вопрос Сапожкова не ответил. Он вздохнул и продолжал прерванный рассказ:

— Просидели мы там одни целый день и ночь, а на утро Дуська сбежала в село и разузнала все. Мамку те гитлеры заарестовали и хату нашу сожгли. Тоже других многих заарестовали и хаты ихние тоже сожгли. На другой день Дуська опять ушла в село. Весь день не приходила. Только поздно вечером вернулась и мамку с собой привела. Мамка в крови вся была и босая. Дуська меня из землянки выпроводила — мамку обмывать стала. Когда я зашел в землянку, мамка уже лежала на постели, а

Дуська бледная-бледная и вся трясется, будто лихорадка ее бьет. И говорит она мне, что нужно ей непременно в лес, к партизанам сходить и фелшера повидать. А мне наказала, чтобы я никуда от мамки не уходил... Ушла Дуська. День проходит — нет ее, два проходит — опять нет. А мамке совсем плохо стало. Все пить просила, да кровью харкала. Отбили черные зверюги все нутро у нее...

Мальчик широко открытыми глазами смотрел куда-то мимо Сапожкова, и словно не ему рассказывал, а вслух вспоминал страшное прошлое.

— Ночью как-то прибегает в землянку Марфа Седельникова — соседка наша — и рассказала все. Снесли село наше гитлеры с лица земли. Многие хаты, которые еще новые были, разобрали и к речке свезли, а остальные пожгли вместе с сараями. А людей всех угнали. Марфа от них по дороге сбежала и теперь к партизанам пробирается... Ушла и Марфа. А мамке все хуже и хуже. Кисленького просить стала. А где мне кисленького взять? Картошка одна мороженая да мука для тошнотиков. А она просит и просит... Пошел в лес. На Широкое озеро. Там клюквы по болотам страх сколько всегда было... Недалеко от озера, в Горелой балке нашел я Дуську...

Мальчик смолк, провел рукой по глазам.

Макарыч забеспокоился: не плачет ли? Заглянул в лицо Сережи — мальчик не плакал.

Сережа молчал долго. Иногда он протяжно вздыхал и тихонько вздрагивал.

Подавленный страшным повествованием мальчика, молчал и Макарыч. Да и что он мог сказать ему?!

— Замерзла она или немцы убили?..

— Не знаю. Свернулась она под березкой и лежит клубочком. Только лицо у нее кто-то обглодал и руки тоже. По одежке только и признал ее...

Подожженное снизу, пламенело небо на западе, а на востоке, где синь уже по-ночному загустела, зажглись первые звезды.

— К морозу небо горит, — сказал Макарыч и украдкой вздохнул, думая совсем о другом.

А неделю спустя Сережа уезжал.

Провожать мальчика вышел весь батальон. Сопроводить Сережу до Галутино поручено было Сорокину.

Закутанный в полушубок, в новой шапке-ушанке Сережа стоял в санях и смотрел своими большими, грустными глазами на добрые лица провожающих.

Сорокин с хмурым, озабоченным лицом проверял упряжь: потрогал шлею, супонь

поправил, зачем-то ослабил, а потом подтянул чересседельник.

Из сарая вышел Сапожков с узелком в руках, сунул его в задок саней под сено.

— Все, что ли? — спросил его Сорокин.

Ефрейтор вздохнул, развел руками.

— Все.

— Разрешите трогать, товарищ старший лейтенант? — обратился к комбату Сорокин.

Мальков ответил совсем не по-военному:

— В добрый час!

Сорокин разобрал вожжи.

— Садись. Пора ехать, Сережа.

Мальчик удивленно посмотрел на Сорокина, не понимая, что тому нужно. И только, когда Сорокин повторил, он понял, но не сел, а торопливо сорвал шапку с головы. Старинным русским поясным поклоном поклонился он на все четыре стороны и дрогнувшим голосом проговорил:

— Спасибо, дяденьки, за вашу ласку. Век помнить буду! — и, будто подкошенный, рухнул в сани, уткнулся в колени Сорокина и громко, в голос, заплакал.

В тот же день вечером, проходя мимо того места в сарае, где обычно сидел Сережа, Макарыч увидел какой-то листок бумаги. Он поднял его. В сарае было уже темно, и разобрать, что там было написано, ефрейтор не мог. Он подошел к раскрытым воротам сарая. И каково же было его удивление, когда он узнал листок из тетради Сережи! Он прочитал уже знакомое ему: «Мы — не рабы», «Рабы — не мы». А в самом низу крупными печатными буквами: «Смерть немецким оккупантам!».

Сапожков тепло улыбнулся. Но тут же лицо его посуровело. Он аккуратно свернул листок вчетверо и положил его в лезый нагрудный карман, где всегда хранил партийный билет.

Всеволод Соболев

СЕВЕРНЫЕ НОЧИ

Сырые мари. Бездорожье.
В сиянье белом тишина.
Погаснуть до утра не может
Завороженная луна.
По ряби бронзовой, речной,
По звездам,
в глубине звенящим,
Опять с централкой за спиной
Плыву я к дальним
синим чащам.
Там снег не тает средь ложбин,
Но и под ним
цветы красивы.
Там, у озер,
костры рябин —
Бездымны и неугасимы...
А ночь идет...
В лесу сосновом

Кривых ветвей качает тень...
И в блесках предраассветных
снова
Встает новорожденный день.
Б разбеге
искрится
волна.
Она и плещет и не плещет...
А даль, чем глубже,
ярче блещет.
Все будто спит,
но нет уж сна...
Все утру тянется навстречу:
И тундра в сказочной красе,
И кедр,
пригнувший в стуже плечи,
И куст багульника в росе...

В. Мартемьянов,

абсолютный чемпион мира
по высшему пилотажу,
заслуженный мастер спорта СССР

В жарком небе Испании

Испания — далекая загадочная страна... Скалистые вершины Пиренеев, тяжелые волны Бискайского залива и полинявшая от нестерпимой жары синева неба — все это совсем не обычно для меня, сибиряка, для которого эталоном красоты была и будет кудрявая блондинка-березка.

Простые люди Испании, неутомимые труженики — смуглые энергичные лица, темпераментная речь, порывистые движения и горячие сердца, переполненные огромной симпатией к нам, советским людям. Сколько крепких рукопожатий, теплых встреч и душевных разговоров позади! Такое не забывается...

На посадочную полосу аэродрома заходим со стороны океана. Тень нашего гигантского воздушного корабля все быстрее и быстрее мелькает по черепичным крышам домов, по крошечным, имеющим самые причудливые очертания, полям. Через окна кабины видим стоянки самолетов, маленькие фигурки людей. Почти все участники мирового чемпионата уже в сборе. На этот раз наш командир особенно нежно приземляет многотонную громадину на бетонную дорожку и даже «бровью не ведеет» на восхищенные возгласы экипажа.

Готовимся к выходу. Критически осматриваем чистые выбритые лица, поправляем друг у друга галстуки. Девушки старательно «дорисовывают» глаза. Волнуемся. Ослепительным светом полыхнул раскрытый проем двери, сбегает

ем по трапу на растрескавшуюся от жары, покрытую скудным травяным покровом землю. На испанскую землю. Еще в самолете решили ничему не удивляться: поэтому стараемся сохранять олимпийское спокойствие, как будто мы каждый день только и делали, что взлетали и садились на испанские аэродромы. Встречают трое в штатском и полицейский. Вежливо здороваемся, обмениваемся через переводчика фразами. Затем штатские внимательно «изучают» отсеки самолетов, полицейский просит раскрыть один из наших чемоданов...

Осматриваемся. Аэродром расположен в долине между двумя грядами гор — пилотировать на малой высоте довольно рискованно.

Метрах в пятидесяти от стоянки тянется ряд колючей проволоки, за ней нам уже давно приветственно машет толпа испанцев в костюмах басков. Направляемся к ним. Возле болельщиков несколько полицейских в причудливых черных касках. Наше решительное шествие приводит их в некоторое смятение, они бы и рады не пускать нас в «массы», но что-то заставляет их оставаться на местах. И вот крепкие рукопожатия через колючую проволоку, радостные, искренние улыбки и совершенно неожиданно русская речь: «Ребята, здорово! Мы вас давно ждем... Как там Москва? Не подкачайте, мы будем болеть за вас». И — десятки вопросов. Нашу невозмутимость снимает как рукой, лица у ребят светлеют, тут же завязы-

вается непринужденный разговор... Раздаем значки, открытки с портретами космонавтов, фотографируемся. Нам предлагают фрукты, вино из походных бурдюков. Каждый всячески стремится показать свое расположение к советским спортсменам.

В разгар этой теплой встречи нас отзывают к самолетам, куда уже прибыли корреспонденты, высокие чины и организаторы соревнования. Следует серия вежливых «дежурных» вопросов и ответов, щелканье фотокамер, пишутся первые автографы. Обращаем внимание на то, с каким неподдельным восхищением смотрят испанцы на два наших крылатых гиганта, в каждом из них размещены по два спортивных самолета. Наш весьма солидный способ прибытия, наглядно свидетельствующий о мощи советской авиации, произвел впечатление. Мы в душе ликуем и очень горды за нашу Родину.

Размещают нас в роскошном отеле «Тамарисес» вместе с чехами, венграми и немцами из ГДР. Мы рады такому соседству. Встречаемся с ними, как со старыми добрыми друзьями. Номера на два человека. Окна и балкон — на море, оттуда не смолкают ленивые всплески прибоя. В воздухе звенящая, знойная тишина. С наслаждением принимаем холодный душ. Какое это блаженство после страшной духоты!

Неслышно ступая, в номер входит горничная, миловидная маленькая девушка. Мы по пояс обнажены, растираемся мохнатыми полотенцами. Она смущается. Поспешно надеваем спортивные свитера. Девушка заливается звонким колокольчиком: «Меня зовут Джулия, чем могу быть полезной сеньорам?» Постепенно разговариваемся. Джулия много рассказывает о тех препятствиях, которые чинят им в жизни служители культа. Попы суют свой нос буквально во все. Запрещают молодежи танцевать модные танцы, следят за покроем и модой одежды. Например, мужчинам на улицах запрещается появляться в рубашках, нужно обязательно быть в пиджаке и при галстуке даже в сорокоградусную жару! Обязывают всех жителей посещать церковь не реже двух раз в неделю. Школы, больницы, книги, радиопередачи и даже кинопрокат контролируют служители бога, сомнительные с их «колокольни» куски фильмов беспощадно вырезаются.

62 К смирению перед сильными мира се-

го, перед лишениями и тяготами жизни — вот к чему призывают они народ и в награду за это обещают вечное счастье в загробном мире. Попов в Испании много. Мы видели их за рулем шикарных автомобилей, на экранах телевизоров и даже за рюмкой коньяка в баре. Чувствуется, что сами святоши не гнушаются прелестями мирской жизни.

«Смотрите, сколько у нас этих дармоедов, — с горечью говорят испанцы. — На них опирается сам Франко, некоронованный «наместник бога на земле». К сожалению, в Испании среди мужчин и особенно женщин встречаются настоящие фанатики религии. С одной из таких молодых особ у меня состоялся следующий разговор:

— Скажите, сеньор, вы католик или протестант? — жеманно спрашивает меня дочь президента морского клуба Вильбао.

— Ни то, ни другое, сеньорита.

Ее брови с наигранным страданием надламываются.

— Как! Тогда кто вы и во что вы верите?

— Я коммунист. Верю в счастье людей на земле, которое мы создаем своими руками.

Она иронически пожимает плечами.

— Но я надеюсь, вы верите в загробную жизнь и стараетесь жить честно и скромно, чтобы заслужить себе вечное счастье на небесах?

— В загробную жизнь я не верю и, тем не менее, живу скромно и честно, живу не только для себя, но и для других. В этом мое счастье.

Ее глаза — предел изумления.

— Вы не верите в загробную жизнь?! Тогда почему вы еще живете и почему до сих пор не застрелились?

Я чувствую прилив раздражения и антипатии к этой изнеженной, дустоголовой особе. С трудом заставляю себя быть корректным и в тон ей отвечаю:

— Странное пожелание, сеньорита. С меня достаточно и этой жизни, а вот вам я советую поспешить в ваш загробный мир... по крайней мере, меньше успеете нагрешить сейчас и уж наверняка забронировать вакантное место в раю.

Наш переводчик весело хохочет, а дочь президента торопливо меняет тему разговора.

Забегая вперед, расскажу, как в один из немногих свободных вечеров мы наблюдали торжественное религиозное шествие, чем-то напоминающее репин-

ский «Крестный ход». Только католические церкви устраивают такое шествие значительно пышнее, нежели в старой России, не стесняясь использовать в своих интересах достижения науки и техники. Бравурно играет военный духовой оркестр, совсем как у нас на авиационном празднике взлетают в небо разноцветные ракеты, озорно шипят бенгальские огни. Четкими шеренгами идут священнослужители в белых балахонах и капюшонах с небольшими прорезями для глаз.

— Да вы, голубчики, здорово смахиваете на американских куклуksклановцев, — насмешливо замечает Вадим Овсянкин.

Мы протискиваемся сквозь толпу зевак поближе. И вовремя. Чуть не просмотрели наиболее впечатляющее зрелище — рослые мужчины в белых одеяниях несут на плечах огромные кресты, сколоченные из толстенных брусьев. Самые рьяные из верующих идут босиком и волокут за собой вериги. Все они «благодарны богу» за свои земные дела, «полны стремления» повторить страдания Христа. Но, увы, объективно они лишь статисты в большом зрелище, организуемом церковью. Центром шествия служит «пасо» — трон-платформа,двигающийся с помощью той же мусульманской силы верующих. Среди цветов и факелов возвышается гипсовая раскрашенная фигура страдающего Христа. Раздаются душераздирающие стелания мужчин и женщин, словно они в отчаянии обращаются за спасением к небесным богам. Средневековым, иезуитским отдаёт от этих голосов, переходящих в животный вопль. Но оказывается все проще, современнее. Напротив нас, заслонив «пасо», остановилась машина городского телевидения. Она передает зрителям голубого экрана шествие на улице Бильбао. Машина уходит, и мы видим только что голосивших мужчину и женщину смеющимися и обменивающимися впечатлениями со своими соседями. Никакого религиозного экстаза: просто они участвовали в очередном спектакле.

Через полчаса после визита горничной, осторожно постучав, в номер входит слуга в белом пиджаке. В руках у него поднос с двумя бутылками вина, фруктами и небольшими листами бумаги, напоминающими наши пригласи-

тельные билеты. Изумленно смотрит на нас. Понимаем в чем дело: к этому времени мы успеваем надеть безукоризненно белые сорочки, парадный костюм и галстуки. Вид у нас вполне «аристократичный». Видимо, после слов горничной наша внешность озадачила слугу. Оставив поднос, он что-то бормочет под нос и, кланяясь, скрывается за дверь.

Через переводчика узнаем, что все спортивные делегации вечером принимает мэр города Бильбао. Мы не в восторге: хотелось бы отдохнуть.

В мэрию приезжаем в 6 часов вечера. Входим в красивое старинное здание со множеством колонн, башенок и декоративных архитектурных украшений. У парадных дверей, опираясь на длинные шпаги, замерли королевские гвардейцы в старинных испанских мундирах. Сразу вспоминаются полотна Веласкеса. Нас приглашают в богато отделанный зал. В зале нет ни кресел, ни стульев. Все на ногах. Толстые и тонкие господа в черных фраках; сеньоры в роскошных вечерних туалетах; меха, драгоценности и на многих лицах маски величия и божественной одухотворенности. Мы держимся непринужденно, весело и оживленно разговариваем. С первых минут советская делегация в центре внимания. На груди у каждого из нас герб великой страны Советов. Он гипнотизирует взгляды испанцев и кое-кому, видимо, портит настроение.

Мэр города приветствует всех спортсменов и желает победы сильнейшим. Шелест кинокамер, вспышки фотоаппаратов, звон фужеров, суета ловких лакеев — вся эта мишура нам порядком надоедает. Уезжаем на ужин из мэрии без сожаления.

Перед каждым из нас появляется смуглая молодая официантка, этакая Мари-Кармен, с тяжелым подносом в руках, на котором стоит большая миска с салатом. Девушка проворно наклоняется между нашими головами, каждому по очереди накладывает в тарелку кушанье и выжидательно смотрит в глаза. «Гратис — спасибо, достаточно», — и она с улыбкой спешит к следующему. С большими паузами блюда следуют одно за другим.

Ужин слишком затягивается, мучительно хочется курить. Спрашиваем разрешения у Мари-Кармен. Она торопливо кивает головой: «Си, си — да, да, у нас курят везде». Действительно, в Испании

курят всюду: в магазинах, в трамваях, на лекциях и на концертах, не курят только в церквях. Урны и пепельницы не приняты, окурки бросают на пол, а за столом — в фужер с недопитым вином — «ведь есть дешевые рабочие руки, убе-рут»... Странный контраст: средневековая чопорная трапеза обеда с частой заменой приборов и подчеркнутое хамство современных курильщиков.

Кажется, ужин движется к финишу. Мари-Кармен несет груды фруктов. Мы уже загружены до предела, но от винограда и груш трудно отказаться. Замечаю, что наша привлекательная официантка очень утомлена, руки с тяжелым подносом дрожат, на лице выступили капельки пота.

Позднее она рассказала нам, что работает почти круглые сутки: моет посуду, стирает салфетки, помогает готовить на кухне. И за все это получает гроши. Половину денег она откладывает на приданое и свою свадьбу. Все бедные девушки Испании делают так, начав работать с ранних лет.

Поблагодарив Мари-Кармен за ужин, выходим из отеля подышать свежим морским воздухом. И сразу попадаем к нашим новым друзьям: студентам, рабочим, рыбакам... Они терпеливо ждали, когда мы расправимся с ужином, чтобы повидаться с нами. Завязываются задушевные разговоры. С восторженной почтительностью слушают они наши рассказы о жизни советских людей, о великих стройках, о звездных братьях-космонавтах. Их интересует буквально все: сколько мы зарабатываем, какой у нас рабочий день, как мы отдыхаем и правда ли, что у нас в стране нет неграмотных. Узнав, что я сибиряк, с самым серьезным видом консультируются у меня, как охотиться на белых медведей и добывать золото. С изумлением узнают, что в моем родном городе Кемерово несколько вузов, несколько театров и много Дворцов культуры, широкие зеленые улицы, просторные площади, парки, сады. С возмущением ругают испанские газеты, в которых грубо искажается советская действительность.

— Наши газеты, — говорят они, — нужно читать вверх ногами и между строк, то есть понимать содержание напечатанного наоборот.

Невысокий худощавый мужчина в берете, назвавший себя Феликсом, рассказывает нам о себе. Работает он по 10 часов в сутки на судостроительной верфи.

Средний его заработок в переводе на наши деньги 60 рублей. Третью этих денег уходит на уплату за сына, который учится в начальном классе частной школы. Дочь работает парикмахером, весь свой скромный заработок откладывает для замужества. Жена не трудится, не может найти работу. «Мы никогда не едим досыта», — говорит Феликс. Другой рабочий, Хосе, проживший много лет в Советском Союзе, рассказывает: «В вашей стране мы чувствовали себя людьми, занимались любимым делом, хорошо зарабатывали, все учились, осваивали новые специальности. Русские к нам относились как к равным — с уважением и вниманием. Когда мы вернулись сюда, нас встречали забытые жители окрестных деревень. Поверив газетным сплетням, они пришли посмотреть, действительно ли у нас в Советском Союзе отросли... рога и хвосты. За правду о вашей стране нас бросали в тюрьмы, жестоко избивали, многие погибали в застенках франкистов. Видите, как они испортили мне «фотокарточку!» — Хосе со злой иронией показывает нам глубокие шрамы на своем лице. — Но эти времена проходят, народные силы растут и крепнут, сейчас уже франкисты боятся нас. Первого мая в Бильбао была демонстрация трудящихся. Ее организовали студенты. Нас разгоняли сотни полицейских. Дрались мы с ними жестоко. Не скрою — нам досталось, но и они надолго запомнят этот день!»

Взволнованные этим рассказом, мы не спрашиваем, коммунисты ли наши новые друзья, но твердо убеждены — они нам братья по духу.

К нашей группе подошел спортивного вида бронец.

— Антонио, — представился он и на чистейшем русском языке предложил нам: — Если вы располагаете временем, я с удовольствием покажу вам достопримечательности Бильбао.

Наш тренер Владимир Евгеньевич Шумилов, Вадим Овсянкин и я заняли места в «фиате» Антонио. Комфортабельный лимузин плавно трогается с места, а наш добровольный гид, видимо, изголовавшийся по русской речи, словоохотливо рассказывает:

— Не удивляйтесь, что я прилично говорю по-русски. Я прожил в Советском Союзе много лет, окончил МГУ, вернулся на родину, сейчас работаю инженером. Хорошо зарабатываю — в Испании острая нехватка инженерных кад-

ров. Имею все, что необходимо для благоустроенной жизни: виллу, автомобиль, прогулочный катер. У меня прекрасная семья... Казалось бы, что нужно еще для счастья? И все же счастливым я себя не чувствую. Здесь волчья законы. Сильный диктует слабому. Я вижу нужду и бедность рабочих, стараюсь им помочь, но что я один могу сделать? Россия — моя вторая родина — только там я был по-настоящему свободен и счастлив. А какие там у меня были друзья! Здесь же я себя чувствую очень одиноко.

«Фиат» мчится по набережной 18-километрового канала, разделяющего город на две части. Мимо проплывают расцвеченные неоновыми рекламными магазинами и отелями, бары и рестораны. Над одним из них читаю такое знакомое и близкое русскому человеку слово «Wolfgang». Антонио поясняет:

— Этот ресторан основали русские эмигранты, здесь готовятся русские блюда, подается на стол знаменитая водка, официантки в русских национальных нарядах: сарафанах, красных сапожках, на голове у них старинные кокошники. Если вы не против, давайте заглянем...

— Спасибо, Антонио, как-нибудь в другой раз.

Вадим любознательно осматривается по сторонам.

— Сколько отелей! Вероятно, здесь много туристов?

— Да, Испания превратилась в Мекку туристов: к их услугам гостиницы, прекрасные дороги, автобусный парк, города-музеи, первоклассные пляжи и разнообразные ландшафты. В прошлом году Испанию посетило 16 миллионов туристов. Вдумайтесь в эту цифру, сравните ее с 32 миллионами испанского населения, и поймете значение туризма для нашей страны.

Действительно, эта цифра заставляет задуматься. С долларами, франками, марками или кронами едут люди, множество людей. Это, конечно, не только миллионеры или представители крупных монополий. Среди туристов люди интеллигентного труда, многие из которых, пусть на свой, мелкобуржуазный, лад воспитаны на демократических началах. Поэтому туризм в Испании нельзя рассматривать только с точки зрения его выгоды. Массовый туризм находится в глубоком контрасте с тем режимом, который все еще господствует в Испании. Режим замкнутый, не терпящий

широкого общения с другими обществами. Туризм же подрывает эту замкнутость. Обслуживанием туристов заняты миллионы испанцев. Они ежедневно, ежедневно соприкасаются с различными веяниями, вторгающимися в страну вместе с туристской армадой. Не считаться с этой политической проблемой испанским властям просто невозможно. Туризм действует как своеобразный таран, разрушающий замкнутое франкистское государство.

На обратном пути становимся свидетелями любопытной сцены: две женщины, темпераментно жестикулируя, взволнованно объясняли что-то бравому полицейскому. На его лице появляется озабоченное выражение. Поправив перекинутую через плечо объемистую сумку с санитарным крестом, с которой так некстати соседствовала увесистая дубинка, он заспешил в подъезд ближайшего дома. Мы озадаченно посмотрели на улыбающегося Антонио.

— Ничего страшного, друзья, — говорит он, — просто в этом доме скоро появится на свет младенец...

Мы удивлены еще более.

— При чем же тут полицейский?..

— Дело в том, что рожать в роддомах — у нас удел женщин из состоятельных семей, уход и медицинское обслуживание стоят больших денег... Большинство бедных женщин воспроизводят потомство дома при отсутствии элементарных санитарных условий. Поэтому смертность новорожденных в нашей стране очень велика. Совершенно отсутствует прирост населения. Правительство вынуждено было принять определенные меры: все участковые полицейские прошли краткосрочные акушерские курсы и, сравнительно за невысокую плату, принимают роды.

— Оригинально! Какой гуманизм! — не без ехидства замечает Владимир Евгеньевич. — Сумкой лечит, чтобы потом дубинкой калечить...

— Что делать?! — невесело говорит Антонио. — Испания — страна контрастов.

И вот уже позади насыщенный до предела событиями и впечатлениями день. Товарищи мои спят. Я стою у раскрытого окна, вглядываясь в лунную дорожку на море и думаю о своих родных и близких, о своем городе. Дома сейчас уже утро, все спешат на работу и в школу, а здесь еще полночь. Пора спать.

В шесть часов утра звонит телефон около моей кровати. Беру трубку — на ломаном русском языке нас любезно приглашают к завтраку. Раченько.

После завтрака едем на аэродром готовить самолеты к полетам. Дорога извилистым серпантином поднимается вверх по долине. Мимо нас проплывают высокие каменные заборы, утыканные сверху битым стеклом, над ними возвышаются особняки богачей. Свообразна архитектура домов: черепичные крыши, навесы от солнца, на окнах типичные испанские шторы из тонких деревянных реек, балконы и террасы в цветах и вьющихся незнакомых растениях. Стройные пальмы постоянно напоминают, что мы на юге.

Вот и аэродром. Едем вдоль стоянок самолетов, нас приветствуют американцы, испанцы, французы и другие команды, посланцы 11 стран — участниц чемпионата мира по высшему пилотажу. Несмотря на ранний час, возле нашей стоянки, обнесенной уже двумя рядами колючей проволоки, толпится народ. Друзья пришли посмотреть, как мы будем выгружать и собирать свои краснокрылые Яки.

Проводим весь день в напряженном труде под знойными лучами солнца. К вечеру облетаем самолеты. Каждый наш полет испанцы встречают горячими аплодисментами, над многочисленной толпой не смолкают возгласы одобрения. Сколько симпатии, доброжелательства к нам! Абсолютное большинство болельщиков — возле наших самолетов, другим спортивным делегациям остается только завидовать нам. Целыми семьями приходили наши друзья, обедали тут же, расстелив на земле газеты и платки. Росла и крепла наша дружба с ними. Заготовленный запас значков, эмблем и сувениров был каплей в море. Мы стали дарить свои часы, электробритвы, авторучки, галстуки, перочинные ножи...

Простые, душевные люди, они, как и мы, переживали не совсем удачные выступления первых дней соревнований. И горячо радовались вместе с нами нашей победе. Очень трудной победе.

Проявляют пристальный интерес к нашей делегации не только спортивные обозреватели и болельщики. Подтянутые, с военной выправкой штатские, в которых без труда можно определить кадровых офицеров, внимательно осматрива-

ют наши первоклассные машины. Интересуются и нами: «Сеньоры, вы безусловно военные летчики. Какое звание имеете вы, сеньор Овсянкин, вы сеньор Почернин?». Иронически улыбаются, когда мы сообщаем, что являемся гражданами летчиками, спортсменами аэроклубов.

Один за другим летят напряженные дни. Тщательно готовимся к полетам, спорим, учимся. Лица у ребят осунулись, потемнели от палящих лучей солнца. Допекают нас частыми приглашениями и визитами. Сегодня мы приглашены на знаменитую корриду. Испанцы говорят: «Кто не был на корриде, тот не был в Испании!» Посмотрим.

Место напоминает арену цирка, только больших размеров. Арена обнесена двухметровым барьером. За ним, как на стадионе, ряды скамеек. Мы устраиваемся в третьем ряду. Публики много, преимущественно зажиточные горожане. Неожиданно из-за небольших укрытий в барьере выбегают четыре матадора с красными плащами в руках, шитые золотом костюмы напоминают гусарские мундиры времен Наполеона. Манерно кланяются зрителям. Торро (бык) перед представлением целые сутки держат в полной темноте, затем сразу выпускают на арену, на яркий дневной свет. Могучий бык с мощными острыми рогами устремляется вдоль барьера на плащ, которым его дразнят по очереди то один, то другой матадор. Раздается сигнал трубы. Вызывает на лошадь, защищенной толстой попоной, всадник, похожий на закованную в доспехи рыцаря. Это конный пикадор. В руках у него длинное копьё. Бык тростно бодает лошадь, прижимает ее вместе с всадником к барьеру, а пикадор тем временем наносит своим копьём страшную рану в его спину. Затем на арену выбегает еще одно действующее лицо этого кровавого спектакля — пеший пикадор. Он держит над головой два коротких лопья с наконечниками, напоминающими багры. Короткий миг — и бандериллы с силой втыкаются в раненую спину быка.

Наконец появляется главный герой представления — тореадор. Он особенно красиво и богато одет, фигура статная и сильная, движения грациозны. В руках красный плащ, которым он дразнит быка. Бык с разгона бодает плащ и так резко останавливается, что из-под копыт

летит песок. Удар следует за ударом.

Когда был замучен и убит последний, шестой бык, спрашиваю у Вадима: «Ну как?».

— Мясокомбинат на арене, а не представление. Грубо и жестоко. Неужели у людей не хватает ума отказаться от этого?

Я с ним соглашаюсь.

А на аэродроме продолжается «небесная вакханалия». 9 сентября, в годовщину выполнения известным русским летчиком Нестеровым «мертвой петли», мы завоевываем первое командное место и дорогой нам Кубок имени славного русского авиатора. Вся наша команда выходит в финал. Идет борьба за звание абсолютного чемпиона мира. Все полеты в Бильбао мне запомнятся на всю жизнь и особенно один... Это был пятый день состязаний. Владимир Евгеньевич положил мне свою тяжелую руку на плечо и говорит: «Ну, Мартемьяныч, остался твой конек — произвольный комплекс. Выполни его так, как ты делал это на тренировках, с блеском, в повышенном ритме». Я молча киваю головой.

Надо собраться. Еще раз внимательно продумываю свой произвольный. Напряжены до предела каждая клетка нервов, каждый мускул. Вылетаю в самый солнцепек: не повезло в жеребьевке. Температура достигает 52 градусов. Двигатель тянет в такую жару много слабее, быстро перегревается, давление масла катастрофически падает. Создаю самый благоприятный режим работы мотора, набираю тысячу метров, захожу на «стрелу», начинаю пилотировать.

Сначала бросаю самолет отвесно вниз. Высота предательски быстро падает, а нужной мне скорости нет. С ужасом понимаю: так можно гнать до самой земли — и все безрезультатно. Придется работать на малых скоростях. Это очень неприятно, самолет становится непослушным, пилотаж вялым, появляются шансы наделать ошибки. «Эх, Евгеньич! Какой тут уж блеск и ритм!» Борьба вынужден за каждый метр высоты. Иду на восходящую вертикальную бочку. Самолет вращается неохотно, гористая изломанная линия горизонта вводит в заблуждение... Так и есть, допускаю гру-

бую ошибку. Секунда паники... Потом взял себя в руки.

И — началась жаркая схватка с разжиженным высокой температурой коварным испанским небом. Многократные перегрузки то с силой вдавливают меня в сиденье, то заставляют висеть на ремнях вниз головой. Почти невозможно дышать, тяжелая, как ртуть, кровь приливает к голове, и — что самое страшное — перед глазами начинают плыть разноцветные радуги. До боли напрягая пресс живота, мышцы рук и ног, что-то яростно ору — это помогает. Двадцать фигур позади. Еще пять. Сил уже больше нет. Теряю зрение все чаще и чаще. От перенапряжения виски и щеки холодит озноб. Выдержать! Выдержать! Ориентировку веду по интуиции. Пилотирую над самой землей, каким-то дальним краешком сознания заставляю себя круглить фигуры, дожимать скорость на вертикалях до самого малого предела — только бы удержаться на этой высоте! Руки и ноги немеют и двигаются как-то автоматически. Вот и заключительная отрицательная полубочка. Только последним усилием — штурвал от себя... Все!

Посадку, руление, выключение двигателя помню смутно. Вылезаю из кабины. Товарищи смотрят на меня сочувственно, вид мой, видимо, неважнецкий. Вадим дипломатически шутит: «Мартин, видок у тебя сейчас, как у того быка, которому воткнули в спину шпагу». Заставляю себя улыбаться.

После меня летит испанец Угарте. Врывается и прекращает пилотаж на четвертой фигуре. Все наши ребята и девушки выступили ровно и хорошо. Мы радуемся: это не только спортивная победа.

Последний вечер перед отлетом проводим с нашими испанскими друзьями. Они печальны, мы тоже грустим. Кто-то, кажется, Хосе, неожиданно сильным и красивым голосом запевает: «Однозвучно гремит колокольчик...» Десятки мужских голосов подхватывают песню, она крепнет, ширится над послушно притихшим заливом и, подхваченная эхом скалистых гор, уносится далеко, далеко... И чудится мне, что слышат ее мои земляки, наши славные сибирские парни и девушки...



Пасечник

Как-то весной, когда уже распустился березовый лист, мой приятель Николай Васильевич, охотник и рыбовод, пригласил меня проехаться на Черное озеро. Я охотно согласился.

— Ружьишко на всякий случай прихватим с собой, — говорил, собираясь, мой спутник, — правда, утка на гнезде сидит, но селезнишки кучами без дела плавают, подложинки подстрелим этих гуляк и будет соответственно. Да и рыбешки урвем, озеро рыбное.

Озеро с названием Черное в Сибири, наверное, не один десяток. В равнинной тайге, по речным долинам, они, окруженные плотным кольцом хвойных деревьев, действительно кажутся темными, сумрачными. Лишь когда высокое летнее солнце бросит сюда яркие лучи, поверхность водоема вдруг засветлеет, засеребрится. Да вечерами, когда у застывшихся в зените облаков появятся огненные каемки, озеро покрывается радужными полосами. Такое озеро похоже на таинственный глаз Земли, и вот круг его непременно возникают легенды.

...Мы сели на мотоцикл, немного проехали по старинному сибирскому тракту, а затем свернули на проселок. И вот в дымке дали начинается вырисовываться широкая речная долина. Затем сверток в сторону по полевой дорожке, и мы останавливаемся на бровке коренного берега. И сразу перед глазами возникает длинный пологий склон, уходящий к ровной долине, и весь в березах и осинах. Поодаль видна поляна, на ней дом, пасека, подалее полоса кустарников, а сквозь лесные просветы видно длинное,

как речной плес, озеро. То самое, Черное озеро.

Какие контрасты в природе! Позади степь, распаханная до предела, а тут же рядом, в речной долине, березняки, осинники, купы высоких тополей, хвойные «таежки». И повсюду непроходимые заросли кустарников. Среди этой сплошной зелени выделяются светлая полоса реки, поблескивающее озеро, открытые луговины, болотца разных оттенков, то рыжие — сфагновые, то зеленые — осоковые.

Рысьи глаза охотника заметили одну деталь:

— Смотрите! — показал он мне в конец озера, — кучка черных точек — это ведь стайка селезней там околачивается, ха-ха! Будет нам пожива, привезем домой и здесь обед устроим, как полагается, ха-ха!

— Разве можно стрелять птиц в это время?

— Селезничек всегда можно, теперь они никому не нужны, лишние.

Богатства речной поймы сразу бросались в глаза. Даже мой спутник, выдавший виды, должным образом оценил это явление:

— Не будь вот такого около реки, некуда бы охотнику и на рыбалку съездить. Только у реки и остались леса.

Пасечник, человек средних лет, среднего же роста и ничем не выделяющейся внешности, встретил нас дружелюбно. На первый раз он оказался не особенно говорливым, но такое и понятно: почти постоянное одиночество сделало его молчаливым, сосредоточенным на работе, а дел, наверное, вполне хватало. На поляне стояло больше сотни ульев, а он всего-навсего один.

— Надо завтрак спроворить, — приветствовал он нас, — порядочно проехали, промялись.

— Мы в Листвянке голянки наловили, вот их и поджарим, — сообщил хозяину Николай Васильевич.

— Вот еще, — усмехнулся пасечник, — как будто у нас своей хорошей рыбы нет. Пойдем, посмотрим мои закидушки. А ружье свое оставьте в доме, оно здесь ни к чему.

— Может быть, парочку селезней к обеду подстрелим? — вопросительно посмотрел на пасечника мой спутник.

Тот даже остановился от удивления:

— Стрелять? Да разве можно стрелять, когда вся птица на гнездах! Разве можно? — повторил он и удрученно покачал головой.

Тон пасечника был такой, что мой компаньон сразу понял вопиющую неуместность своего предложения.

— Не обижайся, не обижайся! Сказано и на том кончено, слово и дело под замок, все понятно. — И он тут же повесил свое ружье на крюк.

На пасеке тишина, и хочется говорить вполголоса. Не зря пасечник заметил, что пчелы любят тишину, спокойствие. Над поляной стоит мелодичный, тихий, словно очень отдаленный звон — это звенят крылышки многих тысяч усердных крылатых работниц. Тут даже птицы не шумят, перелетают быстро, безмолвно. У них теперь серьезное время — насиживание, выращивание молодняка.

Две дворняги, вылезшие из-под сеней, оглядели и обнюхали нас, затем помахали хвостами хозяину, дескать, все в порядке, и опять куда-то исчезли, ни разу не взлаив.

Пасечник разговорился:

— И селезни в общей-то семье дороги, так что зря их выбивают, — начал он, походя: — Расскажу вам пример один. Минувшей зимой ездил я по делам от кордона в большую тайгу и недалеко от кордона увидел стайку тетеревов голов в двадцать — тридцать. Пригляделся я к ним, и что вы, братцы, скажете — во всей стае только одни тетерки и ни одного петуха! Спрашиваю лесника, как же так получилось? А он в ответ: дескать, всех петухов пришибли, коих на току, коих в начале зимы с подъезда. Так, я говорю, весь тетеревиный род переведется. А лесник только разводил руками. Крепко я задумался, невесело стало. Приехал домой, наладил такие силочки, чтоб птица только ногами пу-

талась в них, поймал вот в этом, нашем, березняке трех петухов и отвез на кордон. Вместе с лесником подпустили к той самой беспетужиной стае. И прижились ведь наши петухи на новом месте! — воскликнул пасечник, — петухам я ленточки на лапки пристроил, приметными сделал, но в наших местах их уже не выдывал. Вот ведь как легко без петухов остаться... И селезней бьют без жалости, во всякое время. Думаем, что лишние они, а, глянь, и можем остаться без новых выводков. Нет, братцы мои, с бухты-барухты в птичьих дела нельзя соваться...

Мой компаньон слушал рассказ внимательно и ни разу не взглянул в мою сторону. Понятно: он ведь мечтал пострелять селезней, а получилось совсем другое.

— Верно! — вздохнул он. — Мы, охотники, забываемся, слишком уж все на свой аршин меряем. Не думаем, о чем думать надо бы.

Они отправились ловить рыбу.

Лесок похож на запущенный парк. Очевидно, в земле много влаги, и почва хороша, и тепла-света много, потому-то высоки деревья, густы кустарники, обильны цветы. Еще продолжают цвести синие и белые прострелы, золотистые баранчики, синие медуницы, яркие огоньки, а уж появились одуванчики, набирают бутоны желтые лилии, венерины башмачки, нивяник, — значит, скоро в новые цвета будет окрашена земля этого замечательного парка. А там опять новые придут на смену — подмаренники, иван-чай, таволга, плакун-трава и еще, и еще.

Озеро почти без берегов, и я незаметно подошел к воде. Теперь оно уже не Черное, как не стало по берегам кедров и елей; по всему берегу поднялся светлый березняк, посветлело и озеро. И только еще темнеет глубина.

Судьба пойменных озер — стареть из года в год, зарастать, потом превращаться в болото, в торфяник. И вот уже по берегам тростник, камыш, кажется, наступают, угрожают. Но нет, Черное озеро слишком глубоко для трав и еще не собирается умирать, хотя ему и много лет.

Каждый год широко разливается река, и вешние воды, заполняя речную долину от края до края, достигают и его, омолаживая.

Но не только весенний разлив спасает водоем от быстрого угасания. Оно так

близко к берегу, что все время питается береговыми родниками-ключами, открытыми и подземными.

— Жжжззы-ы-и! — засвистели надо мною острые крылья, и стайка веселых, энергичных селезней опустилась почти рядом на воду. Слово охалку цветов бросили на озеро. Живых цветов! Так красивы они в весеннем наряде. А по воде пошли круги, стеклянная поверхность начала покрываться мелкой частой рябью, как будто тонким рисунком по хрусталу.

За обедом я спросил пасечника, какие птицы и звери живут около озера.

— Место у нас тихое, и много тут проживает птиц, а есть и звери, — ответил он. — И зверь, и птица любят тихое место, чтоб опасности никакой не было, когда они молодь выводят. Это время для них самое важное. И прячутся, и держатся втихомолку, и место выбирают для гнезда, для логова, чтоб как можно неприемнее было. На какие только хитрости ни пускаются, чтоб малых вывести и сохранить... На том берегу место топкое, человеку невозможно пройти, если до тошно не знаешь тропы, да и зверь не всякий пройдет. Так там премножество птиц гнездует: утки, кулики, мелочь разная. Куропатки там же пристроились, где посуше. Там в травах косули ягнятся и с маленькими долго не вылезают. Там и линная птица скрывается. Вот какие места у нас!

— А не соблазняет вас та дичина? У вас ведь висит ружье.

Пасечник удивленно посмотрел на Николая Васильевича. Потом усмехнулся:

— Бывает, постреливает. Бывает. Как упримечу, что над кустами что-то долго ястреб висит, высматривает, пальну по нему из ружья. Иной раз подобью разбойника, а иной раз напугаю, отгоню. Он понятливый, и в следующий раз наше озеро облетит стороной.

— А в березняке птицы гнездуют? — Николай Васильевич что-то заинтересовался парком на берегу озера.

— Тоже много гнезд, — охотно ответил пасечник: — Тетерка ухитряется выводить цыплят. Раза четыре я почти ногой наступал на такую сидуху. Остановишься у гнезда, а она сидит, молчит, не шелохнется, только не мигая смотрит на меня. Ну прикрою веточкой, чтоб не так заметно было гнездо, а сам отойду. Бродили тут лисы, да я их выстрелами отогнал ближе к полю, пусть там

мышей уничтожают. Барсуки есть: нор пять по-над берегом, но те близко к озеру не ходят, чего-то боятся и пьют из ручьев. Так что не разоряют тетерок и других птиц, кои на земле гнезда свои строят. Я почти каждый день хожу и проверяю, целы ли мои наседки. Целы! — покачал он головой, — тяжелое птичье житье! Долго ли любому зверю, собаке, вороне разорить любую пичугу. Собак своих я далеко от дома не пускаю, чтоб не бедокурили.

Да, пчеловод занимался не только пчелами! И мой приятель лишь головой мотал, видимо, таких любителей природы он встречал не часто.

За окнами застучали колеса телеги. Вошли колхозники, старый и подросток. Старик поздоровался:

— Приятный аппетит! За сенцом для фермы приехали, покажи, сосед, где его брать?

— За сенцом дело не станет, а пока садись зербу есть, — пригласил хозяин приезжих, — только что порыбачили, свеженькая рыбка.

— От добра не отказываются, — тряхнул головой старик и мигнул подростку, — садись за стол, коли угощают.

После обеда, как полагается, был чаек, и пасечник, тоже как полагается, принес меду. И, конечно, начались разговоры о том, о сем.

Между прочим, старый колхозник спросил пасечника:

— Какой это у тебя, сосед, около дома зверь бегаёт или собаку чудную, полосатую завел? Право, чудная собака! Когда мы подъехали, она не то рывкнула, не то твякнула и под крыльцо уметнулась.

Хозяин махнул рукой:

— Барсук повадился ходить к дому, отходы разные подбирает. Двух собак мало, новый нахлебник появился. Хорошо еще, что пока только один ходит, а если всю семью приведет?!

Он улыбнулся: — Подумать только, с собаками сдружился, едят вместе, не дерутся. Ну и я не гоню, пусть живет, если к людям начал привыкать.

После трапезы пасечник собрал хлебные куски, кости и отнес к стене дома — это для собак и барсука. Потом смел крошки и остатки недоеденной рыбы, вытряхнул на высокий стол, стоявший под деревьями как раз напротив окон дома.

— Всем досталось от нашего обеда, — усмехнулся он, скручивая папиросу.

— А на столе кому?

— Это зимний птичий стол, но и летом залетают подкормиться, кто по привычке, кто по нужде.

Прислушиваясь и приглядываясь к пасечнику, мой Николай Васильевич не раз мотал в удивлении головой, что-то думал про себя.

Старый колхозник вернулся в избу и спросил, чему-то улыбаясь:

— Сосед, которую копешку складывать на телегу?

— Ту, что побольше, с левой стороны. А правую совсем не положено трогать, она и зиму и лето стоит.

— То-то, не надо трогать, — хмыкнул старик, — подошли мы к ней с парнем, а около ее две дикие козы с козлятами толкуются. Увидели нас, немного отошли, но нет чтоб убежать, похоже, не боятся. Взят бы ты свое ружье да по ним...

Пасечник как будто не слышал последних слов. Посмотрел и сказал:

— Да, ходят козы, это верно. Особенно зимой у правой копешки кормятся. И вот, поди-козь, летом сенцом любят закусить, хоть травы сколь угодно. В сенокос опять ту копешку подновлю на зиму. Привыкли к этому месту, понимают. А я в то сено солцы подбросил для вкуса. Да, понимают... Так ты левую бери, которая побольше. Да о козах не болтай в деревне, а то ведь есть такие, которые не постесняются убить козушек. Не болтай уж, ладно?

После этих слов старый колхозник заметно смутился, постоял безмолвно, не найдя, что ответить, помял свою шапку в руках, почесал за ухом, как будто собирался с мыслями.

— Экий ты... Ну, так я левую, значит, а правая пусть стоит, это верно, — наконец, выразил он свои мысли. В окно мы видели, как он по ходу невысказанных слов два развел руками.

И почти через несколько секунд совсем недалеко от дома раздался его громкий крик:

— Эй, не смей стрелять! Эй, не смей!

Два выстрела грянули одновременно. Мы вскочили с мест. Пасечник бросился из избы.

Старый колхозник продолжал кричать изо всех сил:

— Туда они побежали, трое! Держи их, мошенников, держи!

— Ну, теперь я буду на своем месте! — сказал мне Николай Васильевич и бросился через кусты в ту сторону, где, как показалось, мелькнули фигуры людей. Такой прыти при его грузной, бога-

тырской фигуре я никак не ожидал.

— Возьмите с собой ружье! — крикнул я ему.

Он, не оглядываясь, махнул рукой, и сразу же исчез за кустами.

Прошло около часа. Наконец он появился с довольным видом. И было основание: в руках он держал два ружья, а позади его шагали смиренно, как кающиеся грешники, два парня лет по восемнадцати.

Последовал короткий разговор:

— Ну, я вас, пожалуй, примечал в городе, теперь вы от меня никуда не скроетесь. Не вертите, не финтите, а говорите прямо: зачем сюда с ружьями приходили?

— Думали на озере селезней пострелять.

— Гм... А кто вам разрешил стрелять в такое неподходящее время, когда птица на гнездах сидит?

— Селезни ведь не сидят на гнездах.

— Это не значит, что их можно стрелять в любое время! — вспыхнул Николай Васильевич, не моргнув глазом. — А в косуль зачем стреляли? Не могли разобрать, косули это или селезни?

Парни поникли. Один пробурчал:

— Как увидели — не сдержались.

— Все ясно! — завершил Николай Васильевич. — Завтра явится в общество охотников, и там мы вас научим, как сдерживаться от стрельбы при виде косуль. Ружья ваши я возьму с собой, чтоб завтра вы были аккуратнее и чтоб третий вместе с вами явился. Ну, налево кругом, отчаливайте и чтоб больше сюда никогда, ни ногой, ни в охотничий сезон, ни вне его. Это место будет взято под охрану. Ясно?!

...Осенью я вновь побывал в тех местах с ружьем и собакой. Вышел на пойму поохотиться на пернатую дичь и скоро попал в благодатные для охотника места. Едва зашли в кустарники, как собака сделала стойку. — Фррр! — поднялся выводок серых куропаток. Немного дальше, и опять куропатки. Понятно: густые заросли, много ягод. В береговых березняках поднимались даже тетерева. Вот она, пойма!

Так я очутился около Черного озера. Убедившись, что это оно, разобрал ружье, сложил его в чехол и тихонько двинулся по берегу, любуясь осенним пейзажем.

Помните картину Левитана «Золотая осень»? Так вот я воочию увидел этот пейзаж. Березняки в золоте, золотой ко-

вер на земле; озеро, похожее на реку; даль — и в конце ее селение. Но в этой живой картине были детали, которых нет у Левитана: на втором плане сквозь редкий березняк виднелся дом, ульи и сам пасечник, работавший у мшаника. Дни стояли еще теплые, и он не торопясь устраивал пчел на зимовку.

Пасечник встретил меня как старого знакомого, но разговаривать много было не о чем, ничего особенного на пасеке за лето не произошло. По предложению Николая Васильевича, сюда приезжают только с удочками и, по-видимому, местный заказник будет оформлен. Вот и мое ружье повисло на крюке в избе, а собака была привязана, чтоб за незнамо не придушила полосатого прикормыша, который бегал около избы уже не стесняясь, как у себя дома.

Мы затем отправились смотреть озеро и его ближние окрестности, повидали утиньи выводки, не раз поднимали куропаток и тетеревов, издалека видели косуль. Затем закинули удочки. Рыба еще хорошо брала на мотыля и даже на дождевого червя. Ну, а затем не обошлось и без щербы, как пасечник по-старинке называл уху, не обошлось и без объемистой кружки устоявшейся медовухи. В общем, все было на своем месте.

Теперь я ближе присмотрелся к пасечнику. Был он простым, ничем не выдающимся человеком, таким же добросовестным работником колхоза, как и многие другие его соседи. И внешность такая же простая: среднего роста, средних лет, курносый, с редковатыми русыми волосами, с бритым лицом, потому что в наше время не принято носить бороду. И зовут его так просто — Иван Павлович. И слова его на прощание были такими же простыми, как и он сам:

— Насчет охоты не обижайтесь. Хочу, чтоб около пасеки никакой стрельбы не было, пусть пчелам будет спокойнее и пусть живут и множатся звери и птицы... Спасибо, охотники поддерживают

меня в этом деле. Спасибо. Может быть, по весне и журавли здесь привьются, они любят тихие места.

Прощаясь, я посочувствовал:

— Скучно вам будет одному тут зимой?

— Что вы! — искренне удивился он, — да какая может быть скука! Я буду ульи и рамки делать, а в работе скуки не бывает. Из селения приходят, книги и газеты приносят. Председатель радиоприемник обещал. А птиц сколько тут зимой будет, вы даже не подумаете. Скучает только бездельник, надо прямо сказать. — Он добродушно улыбнулся.

...Осень, казалось, не уменьшила, не обеднила птичье царство около озера. Цокая и треща носились дрозды — поспе-ла рябина. Появились и пернатые гости, прилетающие в эти места к ягоднему сезону и на всю зиму — снегири, свиристели, чечетки, дубоносы, пуночки. И вот не трогали, не стреляли уток, так и они держались, не улетали, не хотелось расставаться с благодатными угодами речной долины. А сколько в этом природном парке осталось зимовать синиц, дятлов, соек, тетеревов и куропаток! Не напрасно сказал пасечник:

— Птицы и летом и зимой веселят душу, радуют сердце. Я так думаю: кто любит птиц, тот дольше и живет на белом свете.

...Однако, пора восвосяи. Над речной долиной уже разгоралась, густела, румянилась осенняя заря. Зарозовели стволы берез. Вечер обнимался с речной долиной и любовно прижался щекою к озеру.

Но было еще светло. С высокого берега я, повернувшись к дому, помахал своему новому приятелю, его дворнягам, которые, стоя около хозяина, смотрели вместе с ним в мою сторону. Я даже махнул толстому полосатому зверьку, который в ту минуту подошел к стене дома, что-то поспешно схватил и юркнул под сенцы.

А. Абрамович,

кандидат филологических наук

В. И. ЛЕНИН и А. М. ГОРЬКИЙ

Мы хорошо знаем о том, что почти двадцать лет, вплоть до смерти Владимира Ильича, его связывали с виднейшим пролетарским писателем России тесные дружеские отношения, что В. И. Ленин первый указал на всероссийское и всемирно-историческое значение творчества М. Горького, что он первый дал глубокую оценку новаторскому произведению — повести «Мать», сказал о том, что многие рабочие участвовали в первой русской революции стихийно и что книга М. Горького научит их организованности, поднимет уровень революционной сознательности. В. И. Ленин проявлял глубоко человеческую заботу о великом писателе, поддерживая его в трудные минуты, направляя его на верный путь. Можно без всякого преувеличения сказать, что своими творческими достижениями М. Горький во многом обязан лично В. И. Ленину.

Но такие отношения между великим деятелем революции и великим певцом этой революции, прекрасные сами по себе, выходят за пределы интересов В. И. Ленина к одному писателю. Они имеют прямое отношение к общим политическим и философско-эстетическим стремлениям В. И. Ленина, органически связаны с разработанными им новыми принципами партийной политики в области искусства. Поддерживая М. Горького, В. И. Ленин поддерживал всю русскую литературу, помогал ей определить свое место в революционной борьбе за победу социалистического общества.

Поистине великим открытием В. И. Ленина была его знаменитая работа «Партийная организация и партийная литература», написанная в разгар первой русской революции в 1905 году и по сей час определяющая смысл и значение

искусства в общественной жизни, его преобразующую роль, ее остросоциальный, партийный характер.

В. И. Ленин гениально применил марксистские философские и политические принципы общей пролетарской революционной борьбы непосредственно к литературе и искусству, призвав художников всех родов и видов искусства, стоящих на демократических позициях, признающих право трудового народа на свободу, соединить свои судьбы и свое творчество с жизнью и борьбой большевистской партии не формальным членством, а самим духом, идейно-художественным направлением произведений, отечаяющим интересам революции. С другой стороны, он резко и прямо осуждал и клеймил художников буржуазных, служащих «денежному мешку», «верхним десяти тысячам» господ, всеми силами поощрявших искусство упадническое, декадентское, представители которого проповедывали надклассовость и надпартийность искусства. Таким писателям, артистам, живописцам В. И. Ленин настойчиво рекомендовал, чтобы они не путались под ногами и не надевали бы на себя маски поборников интересов народа.

Ленинское учение о партийности литературы и искусства оказало огромное влияние на их развитие еще в дореволюционных условиях. Оно в сущности явилось теоретическим и практическим обоснованием нового метода творчества — метода социалистического реализма. И, что очень важно, оно оказало неотразимое влияние не только на М. Горького, но и на большой отряд писателей, в той или иной мере выразивших в своих произведениях передовые революционные идеи, Таковы Серафимович,

Маяковский, писатели и поэты, объединявшиеся вокруг «Звезды» и «Правды», в первую очередь Демьян Бедный, затем Шкулев, Радин, Поморский и другие.

Но самое сильное воздействие ленинских новых идей в области искусства испытал все же М. Горький. К этому времени уже были опубликованы такие крупные его произведения, как повесть «Фома Гордеев», пьесы «Мещане», «На дне», его революционно-романтические легенды и сказки — «Песня о Соколе», «Песня о Буревестнике» и другие. Они как раз и позволили В. И. Ленину не только оценить талант М. Горького, но и сделать вывод о том, что пролетарская социалистическая литература уже существует в России и развивается, что призыв к демократическим писателям встать в ее ряды может быть практически реализован.

Но если В. И. Ленин создал свое учение о партийности искусства, опираясь в известной мере и на реальные творческие достижения М. Горького, то именно М. Горький, как это естественно было ожидать, в первую очередь испытал влияние новых ленинских философско-эстетических идей, и можно без преувеличения сказать, что уже в дореволюционное время, особенно в десятилетия нашего века, творческая, политическая, публицистическая деятельность М. Горького развивается на основе использования идей, выраженных в статье «Партийная организация и партийная литература».

Когда мы читаем горьковскую статью «Разрушение личности», нам вспоминается утверждение В. И. Ленина о том, что надклассовая позиция писателя в классовом обществе невозможна. Как В. И. Ленин, отвергая теорию декадентов о возможности существования якобы «чистого», свободного от влияния классовой политики искусства, М. Горький доказывал: «Трудно представить себе, что подобное искусство возможно, ибо трудно допустить на земле бытие психически здорового человека, который сознательно или бессознательно не тяготеет бы к той или иной социальной группе, не подчинялся бы ее интересам: не зацепил бы их, если они совпадают с его личными желаниями, и не боролся бы против враждебных ему групп».

Такое утверждение М. Горького неопровержимо доказывает, что модная среди декадентов теория так называемой надклассовости искусства, которую одно

время поддерживал и Валерий Брюсов, совершенно неприемлема для социалистической эстетики М. Горького.

В 1912 году, категорически отказываясь от приглашения сотрудничать в журнале «Запросы жизни», М. Горький так обосновал свой отказ: «...вот — кратко — то, что вызвало у меня впечатления, отталкивающие от журнала: «...беспартийность «Запросов жизни» становится постепенно своеобразной партийностью без программы — худшим видом партийности: он дает широкий простор различным настроениям, но едва ли способен воспитать и организовать политическую жизнь». Публицистическая, политическая борьба против «беспартийности» последовательно подтверждена пролетарским писателем в художественной сфере.

Тот факт, что мы имеем дело не со случайным высказыванием М. Горького, так жестоко раскритиковавшим политическую позицию журнала «Запросы жизни», а с определенной системой взглядов, свидетельствует переписка М. Горького и В. И. Ленина как раз в связи с проблемой партийности искусства.

12 января 1913 года М. Горький обратился с письмом к Владимиру Ильичу Ленину, в котором, помимо других вопросов, очень полно и последовательно подчеркнул крайнюю реакционность идеологии «беспартийности» не только в художественном творчестве, но и в общественно-политической жизни вообще, в позициях части русской интеллигенции — в особенности. В своем ответе В. И. Ленин полностью поддержал позицию ведущего пролетарского писателя России, позицию, близкую к основным положениям и выводам статьи «Партийная организация и партийная литература».

В. И. Ленин писал:

«Особенно порадовали меня в Вашем письме слова: «Из всех планов и предложений российской интеллигенции явствует с полной несомненностью, что социалистическая мысль прослоена разнообразными течениями В КОРНЕ враждебными ей: тут и мистика, и метафизика, и оппортунизм, и реформизм, и отрывки народничества. Все эти течения ТЕМ БОЛЕЕ враждебны, что КРАЙНЕ НЕОПРЕДЕЛЕННЫ и, не имея своих кафедр, не могут определиться с достаточной ясностью».

Подчеркиваю слова, особо меня восхитившие. Вот именно: «в корне враждебные».

дебны» и тем более, что «неопределенны». (В. И. Ленин, Полн. собр. соч., изд. 5, т. 48).

В связи с этим ленинским письмом возникает еще одна важная проблема во взаимоотношениях В. И. Ленина и М. Горького — проблема влияния В. И. Ленина не только на политические, публицистические выступления М. Горького, но и на его самые непосредственные творческие замыслы.

Ранее своей оценкой повести «Мать» В. И. Ленин направил внимание писателя на огромное значение таких произведений пролетарской социалистической литературы, которые изображением героев революционной борьбы мобилизовали бы трудовой народ на борьбу и победу. В последние годы такая идея является основной в ведущих горьковских произведениях.

Далее, беседа с М. Горьким о его интереснейшем замысле показать тлетворное влияние капитализма, буржуазного общества на человеческую личность, ее вырождение политическое, моральное и физическое, охватывающее буржуазные семьи-династии, В. И. Ленин предугадал, когда и как должен быть написан роман «Дело Артамоновых». Он посоветовал М. Горькому написать это произведение после победы революции, когда сама история покажет конец важной темы и сюжета романа — окончательное поражение капиталистического строя и победу строя нового, социалистического. Известно, что М. Горький последовал ленинскому совету и создал после Октября произведение более широкое по идее, чем оно мыслилось до революции. Таким образом, наши современники читают сейчас роман, который философской зрелостью и политическими широкими обобщениями в значительной мере обязан В. И. Ленину.

Дружба двух великих людей, естественно, привела к тому, что, получив так много от вождя большевистской партии, М. Горький, в свою очередь, дал наиболее яркое и достоверное образное представление о своем учителе и друге. Сейчас опубликованы буквально сотни воспоминаний участников и свидетелей ленинских дел. Но даже после выхода в свет нового, четырехтомного издания мемуарных очерков, статей, посвященных памяти В. И. Ленина, горьковский очерк о нем остается самым важным и глубоким. Это — в подлинном смысле слова — словесный изобразительный памятник ог-

ромной политической и художественной силы, памятник, по своему замыслу и исполнению самый достоверный и самый впечатляющий.

Главное достоинство мемуарного очерка М. Горького о Ленине состоит в том, что писатель увидел и выразил в образе В. И. Ленина то типическое, что волнует людей и сегодня, и будет волновать века. И в то же время в очерке изображено и то, что оказывается в каждый конкретный момент современности самым существенным и необходимым. Это означает, что писателю удалось проникнуть в самую суть сложнейшей и ответственной темы, выявить самое главное в облике и характере В. И. Ленина, человека и вождя — не иконописного, не приподнятого нарочито над миром и людьми, а великого в подлинно человеческой характерности и одновременно такого, который был в действительности и является для нас олицетворением идеала человека-деятели.

«Прост, как правда», — сказал о В. И. Ленине один из рабочих делегатов Лондонского съезда партии. «Прост, как правда», — ставит М. Горький в основу своего очерка это удивительно меткое определение характера вождя нового типа. Он сравнивает его с другими большими деятелями эпохи — Плехановым, Августом Бебелем — и настойчиво подчеркивает, что всякое сравнение сразу отпадает, потому что именно Владимир Ильич Ленин неизмеримо больше, чем кто-либо другой, выступал «от лица истории» и что именно он воплощал в своем облике, внутренней сущности и в своей деятельности идеал вождя, познавшего в сложнейших условиях XX века историческую правду, прекрасно представляющего себе, куда идет развитие человечества, и помогавшего этому развитию всей своей неиссякаемой энергией.

Художественный секрет горьковского произведения о В. И. Ленине состоит в том, что писатель нигде не возвеличивает вождя ради создания типа сверхвыдающейся личности и даже особо решительно и подчеркнуто возражает против такого возвеличивания, но как раз именно поэтому В. И. Ленин и предстает перед нами во всем размахе гениальности и силы, неотъемлемо слитой с простотой и глубочайшей человечностью.

«Слитность, законченность, прямота и сила его речи, весь он на кафедре — точно произведение классического искусства: все есть, и ничего лишнего, никаких

украшений, а если они были — их не видно, они так же естественно необходимы, как два глаза на лице, пять пальцев на руке».

Вслед за этим блестящим портретом М. Горький последовательно раскрывает все то, что было присуще В. И. Ленину как личности и политическому деятелю всемирного масштаба: его патриотизм, энциклопедические познания, его постигшие не знающий усталости организаторский талант, его любовь к друзьям по партии и ко всему трудовому человечеству, его высокий эстетический кругозор и многое, многое другое.

М. Горький пишет о том, что многим историческим деятелям было свойственно понимание смысла и значения революционной борьбы и ясное представление о том, что ее главной целью является строительство социалистического и коммунистического общества, обеспечивающего счастье человечеству. А у Владимира Ильича Ленина такое понимание было обогащено представлением, что коммунизм есть не только благо, взятое в своем общем, итоговом выражении, но и счастье каждой отдельной человеческой личности. Это и был ленинский гуманизм высочайшего взлета, та человечность, которая освещала и направляла любое действие, любой поступок В. И. Ленина. Не общая теоретическая жалость к угнетенным, не только представление о том, что в будущем всем будет хорошо, руководили В. И. Лениным, а совершенно неодолимое стремление вот сейчас, сегодня, сию минуту, даже в условиях старого общества, сделать все возможное, чтобы облегчить беды и несчастья вот этого данного, конкретного человека.

«... я не встречал, не знаю человека, — писал М. Горький, — который с такой глубиной и силой, как Ленин, чувствовал бы ненависть, отвращение и презрение к несчастьям, горю, страданию людей... Для меня исключительно велико в Ленине именно это его чувство непримиримой, неугасаемой вражде к несчастьям людей, его яркая вера в то, что несчастья не есть неустранимая основа бытия, а — мерзость, которую люди должны и могут отмести прочь от себя. Я бы назвал эту основную черту его характера воинствующим оптимизмом материалиста. Именно она особенно привлекала душу мою к этому человеку — Человеку с большой буквы».

76 Невозможно без глубокого волнения

знакомиться с эпизодами из горьковского очерка, где мы видим В. И. Ленина, заботившегося о том, чтобы делегатов Лондонского съезда получше кормили, чтобы больно М. Горький имел в номере гостиницы сухие простыни, чтобы детям в детских домах и садах отдавали все продукты, которые он получал в виде подарков от рабочих и крестьян в начале голодных двадцатых годов, а сам жил «по-спартански» и доказывал постоянно, что когда всем трудно, не может быть легко ему одному.

Надежда Константиновна Крупская, познакомившись с переработанным и дополненным в 1930 году произведением М. Горького, написала: «...получила Ваши воспоминания об Ильиче — хорошие. Живой у вас Ильич. О Лондонском съезде очень хорошо. Каждая фраза Ваших воспоминаний вызывает ряд аналогичных. И потом Вы любите Ильича. Кто не любил бы, тот не мог бы так написать. Живой весь Ильич».

Дать более точную и вместе с тем более высокую оценку горьковскому произведению, разумеется, невозможно.

В свете общих проблем о связях В. И. Ленина и М. Горького по вопросам литературы и искусства, один из эпизодов, к которому мы сейчас обратимся, имеет, конечно, более частное значение, но он очень дорог нам, сибирякам, свидетельствуя о глубоком интересе двух великих деятелей к Сибири, к ее культурной, литературной жизни.

При одной из очередных встреч с В. И. Лениным М. Горький увидел у него на столе книгу «Два мира» В. Я. Зазубрина (псевдоним Зубцова). История создания и публикации этой книги весьма интересна. В. Я. Зазубрин, находившийся в Красной Армии в период гражданской войны, один из первых в советской стране осуществил попытку создать большое эпическое произведение, посвященное революции и гражданской войне на конкретном материале Сибири — его книга посвящена всенародной борьбе с колчаковщиной. Его произведение впервые было издано в 1921 году в Иркутске политуправлением Пятой армии.

Произведение В. Я. Зазубрина отражает и поиски и неопытность автора. В книге немало композиционных просчетов, торопливо набросанных сцен, недодуманных схематичных характеров. Но она исключительно правдиво показала беспощадную жестокость и свирепость

белогвардейцев, пытавшихся в море крови утопить стремление сибирских крестьян и рабочих к свободе, и провозгласила неизбежность победы народа.

Как вспоминал М. Горький, это и привлекло внимание В. И. Ленина к книге и проявилось в его отзыве, что книга жуткая, но хорошая, нужная.

М. Горькому была исключительно дорога каждая оценка В. И. Ленина, особенно его мысли и суждения об искусстве. Опираясь на ленинское высказывание, писатель очень многое сделал, чтобы «хорошая, нужная книга» была достоянием читателей не только Сибири, но и всей советской страны. Благодаря его предисловию к одному из изданий книги, раскрывающему ее познавательное значение, она выходила в свет только при

жизни автора двенадцать раз и переиздается до сих пор.

Таковы некоторые факты, раскрывающие связи В. И. Ленина и М. Горького, непосредственно касающиеся литературы и искусства. Они не исчерпывают и сотой доли ленинского и горьковского наследия даже в этой конкретной области. Но и они свидетельствуют о том, что содружество великого политика и великого писателя — факт глубочайшего значения, явление небывалое в истории: ленинское учение о партийности литературы и искусства нашло широкий отклик в художественной и публицистической деятельности самого большого пролетарского писателя. Это открывает нам одну из бесчисленных граней в гениальной и самой разносторонней деятельности В. И. Ленина.

СИБИРЯКУ — НА ПАМЯТЬ

1919 год. Красная Армия успешно продвигалась на восток. Части Пятой Армии, очистив от белогвардейцев Урал, начали освобождение Сибири.

Частям наступающей Красной Армии активно помогали партизаны. К середине 1919 года на территории Кузбасса, например, действовало до 20 партизанских отрядов. Один из наиболее крупных и организованных отрядов назывался «Российским имени В. И. Ленина советским партизанским отрядом».

После постановления ЦК РКП(б) от 19 июля 1919 г. «О сибирских партизанских отрядах», в котором давалась высокая оценка боевых действий партизанских отрядов Сибири и предлагалось объединить их в крупные со-

единения, в Кузбассе была создана Первая Томская партизанская дивизия (Кузбасс входил тогда в Томскую губернию — А. М.). Командиром дивизии был назначен бывший подпрапорщик, кавалер георгиевских крестов всех четырех степеней, крестьянин д. Щипицыно Кузнецкого уезда Василий Павлович Шевелев-Лубков.

Став красноармейцами 27-й Омской стрелковой дивизии, бывшие партизаны В. П. Соснин и Е. А. Евдокимов (оба уроженцы села Банново, Крапивинского района) участвовали в подавлении контрреволюционного Кронштадтского мятежа весной 1921 года. За храбрость и отвагу, проявленную в боях, и Соснин и Евдокимов первыми из кузбассовцев в 1921 году были награжде-

ны орденами Красного Знамени.

За активное участие в партизанском движении, умелое руководство боевыми действиями против колчаковцев орденом Красного Знамени был награжден командир Первой Томской партизанской дивизии В. П. Шевелев-Лубков.

К 10-летию Красной Армии, 23 января 1928 года, Кузнецкий окружной ВКП(б) принял постановление о представлении к правительственным наградам наиболее отличившихся красных партизан кузбассовцев. Среди них — Н. В. Буинцев, Я. Г. Старовойтов, А. В. Роликов-Виноградов, С. П. Крупко, С. А. Зубенко, Ф. А. Брокор, Т. Ф. Путилов, С. И. Проскаков и другие.

А. М а з ю к о в.

*Веселая
минутка*

ВОЗЬМИТЕ НА КАРАНДАШИК

Молодой специалист, литсотрудник газеты Семен Жилин получил однокомнатную квартиру на пятом этаже и перевез свое имущество — колченогую раскладушку, два стула кустарной работы, выкрашенные под цвет крымского неба, и наволочку с книгами философского содержания.

Не успел Семен разложить вещи, как явился гость — старичок-боровичок в толстовке и сильно расклеванных штанах. Боровичок сел, не спросясь, и, минуя околичности, сказал так:

— Я на правде зубы скушал, — он покрутил круглой чистой головой и скорбно зажмурился, — за правду страдал многократно. Зовут меня Иван Иванович, служу торговым экспедитором. Документики представить?

— Ни к чему документы, — зарделся Семен, — я верю!

— Журналист, слышал? — старик посмотрел на Семена сурово и пронзительно.

— Да, честь имею. И к вашим услугам.

Насчет услуг он зря добавил, здесь и так илась его роковая ошибка.

— Так пострадаем за правду вместе? — осведомился экспедитор Иван Иванович и вновь посмотрел этак нехорошо и пронзительно.

Литсотрудник Жилин был застенчив по натуре, но смел и безотчетно предан Истине. Он шагнул вперед, как доброволец из строя:

— Я готов!

— Тогда следуйте за мной.

На дворе было солнечно и отрандно. На скамейках сидели бабушки с вязаньем, в песочницах дети строили города, дорожный каток утюжил асфальт. Были еще нежные облака, цветы на клумбах и не верилось, что где-то рядом в этом благополучном мире таилось зло и дышала кривда.

Экспедитор привел литсотрудника к топольку около тротуара и вытер глаза платочком.

— Замечайте: подростки натурально хулиганы, ветки ломают, а взрослым — хоть бы что! — старик насупил брови, — к позорному столбу их, вы согласны со мной?

— Кого? — бестактно спросил Семен.

— Все! Блокнот с собой? Я одолжу, если изволите, и карандашик пожалуйста. Итак,

ЮМОРИСТИЧЕСКИЕ РАССКАЗЫ

Петр Слуцкий из двадцать седьмой квартиры (он рыжий), Василий Корнеев из тридцать шестой (этот черный), Любовь Таранец (с косичками), квартиру пока не знаю. У Слуцкого, между прочим, отец директор Дома культуры, на фаготе играет, а сын бродягой растет. Записали? Значит, фельетон будет?

— Это, конечно, безобразие — ветки ломать, но отчего же вы их сами не устыдите э-э-э Иван Иванович?

— Я — человек маленький и не уполномочен! — рассердился старик не на шутку, и в другом доме живу. Вы еще, извините, под стол пешком ходили, а я за правду лихо полными горстями пил!

Семен, смутившись, попросил прощения.

Экспедитор простил его и порекомендовал следующий образ действия:

— Берите подозрительных на карандаш, я тоже буду факты подбрасывать. Инкогнито, конечно. Договорились?

Они договорились. Боровичок удалился, голоская штанами. Он обещал в ближайшее время наведаться с очередной информацией из неистребимого мира зла. Семен же стоял и думал о том, какие замечательные люди живут рядом, люди с ярко выраженным чувством ответственности и долга. Правда, молодого литсотрудника несколько смущало, что его новый знакомый предпочитает бороться за правду инкогнито, но эту осторожность можно было отнести за счет душевной усталости — ведь с пути Истины сворачивали и гиганты. Жилин уже сочинял мысленно теплую зарисовку под заголовком «Им до всего есть дело» и называл в ней скромного экспедитора «Гражданской Совестью».

«Гражданская Совесть» пришел к Жилину уже на второй день с проектом государственной важности: он предлагал в столо-

вой напротив отгородить раздаточную от обеденного зала металлической решеткой выше человеческого роста.

— Я подсчитал: если каждый десятый украдет только винегрет, то, согласно пропускной способности этой точки, общепит теряет в месяц семьдесят один рубль, двадцать две копейки. Вы взяли на карандаш?

— Взял, — рассеянно ответил Семен и вспомнил почему-то Сухумский обезьянник, огороженный металлической сеткой. — Вы видели, как воруют в столовой?

— Не уполномочен. Вы еще, извините, под стол пешком ходили...

— Приму к сведению. Спасибо...

— Пусть под ними земля горит!

В другой раз экспедитор принес примитивный чертежик нового коммунального моста в центре города и пояснительную записку к чертежу. Записка кончалась словами: «МОСТ СКОРО РУХНЕТ!».

Семен почувствовал мелкую дрожь в коленках: он ходил по этому мосту на работу и обратно. Он нерешительно посомневался:

— Может, постоит еще хоть года три?

— Нет, не постоит, начальник строительства тип социально опасный, дед его содержал скобяную лавку. Об этом еще никто не знает, но они узнают! Взяли на карандаш?

«Гражданскую Совесть» чаще заносило на проблемы государственного масштаба, но не чурался он и мелочей. Он привел на квартиру Жилина согбенную старуху, у которой во время коллективизации отобрали годовалую телку. Старушка вела тяжбу вот уж без малого сорок лет и накопила холщовый мешок документации.

По инициативе Ивана Ивановича, литсотрудник Жилин систематически привлекал-

ЮМОРИСТИЧЕСКИЕ РАССКАЗЫ

ся для разбора семейных ссор в своем квартале и дележа имущества. Жилин запустил основную работу — он, запавшись, бегал по организациям и хлопотал, он даже съездил в колхоз насчет телки. Председатель колхоза в просьбе категорически отказал за давностью, но по доброте душевной выписал старухе в порядке компенсации отрез панбархата к Дню Военно-Морского Флота.

Жилин спал мало и плохо, во сне, как по заказу, видел собственные похороны, видел себя в гробу с выражением скорбного величия на лице, явственно слышал речь редактора перед разверзнутой могилой о загубленной молодости и убитом таланте. Редактор тер слезы кулаком и спрашивал у собравшихся:

— Взяли на карандаш, да?

Сосед Жилина — деликатнейший мужчина при пенсне, похожий на разорившегося дворянина, навестил Семена и поинтересовался с низким поклоном:

— Не поможете ли, юноша, моей беде? Мне дали путевку на море, а собаку девать некуда. Мы вдвоем век мыкаем — я и моя собака, друг человека. Вы ведь любите собак?

Семена осенила блестящая мысль, и он

кивнул: да, без собак он себя с детства не мыслит.

Кобеля звали Рафиком, это был пожилой, дюжий боксер, он не умел лаять — лишь кряхтел, как дюжий мужик под мешком клади, и ронял на пол слюну с черных губ.

Мужчина при пенсне оставил сорок рублей на прокорм Рафика и исчез, счастливый.

Деньги Семен в тот же вечер нагло просадил с друзьями в ресторане и не кормил Рафика три дня — давал ему только нюхать записную книжку экспедитора, показывал на дверь и повторял утробным голосом: «Фас, там злыдень, сутяга! Хватай его и ам-ам!»

Боксер кряхтел, царапал пол лапами и в глазах его тлела ненависть.

Семен сложил в портфель чистую пару белья, прикупил сухарей и стал писать записку: «Иначе я поступить не мог. Не поминайте лихом, товарищи!» Кончить записку он не успел — в дверь долбился «Гражданская Совесть»...

Семен спустил Рафика с цепи, открыл замок и убежал на кухню.

...Потом был показательный суд.

Адвокат говорил почти сутки, и женщины плакали.

ПЯТНО

Палаточный городок разбили в устье горной речки под названием Чистые Ключи. Вода в реке была светла, как воздух, по берегам лежал песок, дальше тянулся ивняк, а уже за ним — ягодная тайга. Словом, место выбрали хоть куда и на любой вкус.

Экономист Кудреватых вытащил из чехла новенький спиннинг и позвал с собой млад-

шего экономиста Гошу Воронова — кривоногого мужчину с бабьим лицом и неопределенного возраста. Гоша, если честно, не верил в счастливую звезду Васи Кудреватых, но стеснялся своих кривых ног и широких трусов дореволюционного покроя. Дамское общество ему претило.

Навстречу по одному и кучно попадались

ЮМОРИСТИЧЕСКИЕ РАССКАЗЫ

рыбаки, они несли на лицах суровое выражение, с каким хоронят близких: никто в этой речке не клевал. Одни говорили, что самый клев теперь в верховьях, другие говорили, что как раз наоборот — успех обеспечен в низовье, а, может, в аккурат где-то посередине...

У первой плиты, у плоского камня, который туго охватывали зеленовато-белые струи, и ниже была яма. Кудреватых приладил катушку, томительно долго примеривался, прежде чем размахнуться, кряхтел, кусал губы и наконец кинул блесну вместе с кустом боярышника. Он также вырвал клочок из Гошиних трусов, похожих на юбку, и поцарапал себе щеку. Гоша тонко закричал и побежал прочь от берега, зажимая дыру в горсти.

Кудреватых сделал «бороду» и присел на корточки, задумался, с какого конца взяться за нудную и позорную работу. В этот момент Гоша закричал тем же тонким голосом:

— Взял, взял, сволочь!

И верно: в зеленой яме под плитой плескался и взмывал колесом белобрюхий таймень.

— Тащи! — заходился Гоша. Утиный нос его враз побелел, будто отмороженный.

Кудреватых ухватился за леску и побежал рысью вверх, рассыпая курумник. Таймень тяжело и важно переваливался на песке, на его боках дробилась радуга. Общими усилиями экономисты оттащили рыбину волоком подалее от воды и тряскими руками зажгли сигареты, чтобы снять нервную нагрузку.

Слух быстрее зайца промчался до устья, и первой к месту происшествия поспела секретарша начальника Юлечка — сочная блондинка в купальнике расцветкой под колорадского жука и в красных босоножках.

Юлечка театрално воздела кулачки, хрустнула пальцами и припустила назад с известием чрезвычайной важности.

На экономистов набрел еще рыжий парень в штормовке — участковый милиционер на отдыхе Тимофей Самохвалов — и, сопя, осмотрел тайменя, будто хотел составить на него акт за нарушение правил внутреннего распорядка. Самохвалов покатал на ладони блесну и сплюнул, как мальчишка.

— Везет же дуракам! — в сердцах сказал он.

— Это в каком же смысле? — надулся Кудреватых.

— Блесна-то зимняя. И видел я, как ты бросал. Первый раз спиннинг в руках держишь.

— Уметь, значит, надо! — назидательно ответил Гоша, — у нас и на зимнюю хватает почем зря.

Милиционер вздохнул и молча сел на камень — наблюдать и завидовать чужому дурацкому счастью.

— Как же ты его, а! — всхлипывал Гоша, — ловко ты его, а! Лежит и моргает. Моргает себе — и точка!

— Рыба не умеет моргать! — объяснил Кудреватых, подкованный теоретически, и встал в позу полководца после исторической победы — отставил ногу на отлет, вздернул голову и затуманил взор.

— Килограммов поди на десять потянет? — спросил Гоша с неприкрытой лестью и поддернул драные трусы, которые почему-то начали сваливаться с его округлого живота.

— Достань в моем рюкзаке безмен, взвесим, — Кудреватых был выше этой називной лести и уважал истину.

Гоша нашел в рюкзаке рыбацкий безмен, Кудреватых небрежно взял тайменя за жаб-

ЮМОРИСТИЧЕСКИЕ РАССКАЗЫ

ру. Таймень широко, до отказа, раскрывал пасть и дергался.

— Живой еще! И моргает!

— Рыба не умеет моргать, не дано.

Милиционер Самохвалов опять сплюнул и покачал головой: везет же дуракам!

— За ноздрю цепляй, за ноздрю!

— Кусается.

— За ноздрю.

— Есть, зацепил! — кривоногий Гоша обеими руками держал безмен за верхний крючок, а Кудреватых, наклонясь, ловил глазами, на каком делении остановится черная планка, отмечающая вес.

— А ведь моргает! И взгляд у него этакий неласковый, а?

— Держи, не качай!

— Вы бы камнем его по башке, — равнодушно присоветовал милиционер, — тварь живучая, уйти может.

— Куда денется, мы начеку!

В этот момент таймень качнулся медленно и вяло, потом вдруг согнулся дугой, резко наддал хвостом и, похожий на головешку, без всплеска пропал в омуте.

— Четыре килограмма, пятьсот грамм, — сказал Кудреватых, не веря еще, что случилось непоправимое, — вернее, четыре пятьсот восемь.

По воде меланхолично разбегались круги. Река текла и не поворачивала вспять.

Милиционер пристыл на камне с открытым ртом, который не смог закрыть до самого вечера.

Гоша сел на корточки и заплакал.

Кудреватых зачумленно смотрел в омут под плитой и шептал, бледнея:

— Четыре кило, пятьсот восемь.

По тропе цепочкой бежал к плите коллектив СМУ-8 в полном составе.

В понедельник с утра старший экономист Василий Кудреватых принес начальнику СМУ заявление, в котором просил уволить по собственному желанию.

Начальник натужно покашлял и отвел взгляд в окошко.

— Специалист ты неплохой, Василий, — сказал начальник, — жалко отпускать, но перед коллективом сильно запятнал ты себя. Сколько, говоришь, таймень-то весил?

— Четыре пятьсот, вернее, четыре пятьсот восемь.

— Как же это вы, а? Такое пятно не смыть, нет! — начальник решительно вывел на уголке заявления «согласен». — Какое пятно!

...В приемной начальника толкался младший экономист Гоша Воронов и обреченно ждал своей участи.

ПОДАГРА, КАРЛ ВЕЛИКИЙ И Я

Целый год я спал урывками; было похоже, что через квартиру этажом выше гоняли на бойню крупный рогатый скот. Но этажом выше жил всего один нестарый вдовец сложной судьбы. Мы коллективно написали на него заметку в газету под заго-

ловком «Хулиган распоясался» и получили ответ. Сотрудница отдела писем советовала нам создать вокруг соседа нетерпимую обстановку, и чтобы под ногами у него горела земля. Сотрудница, однако, не научила нас тому, как создать нетерпимую обста-

ЮМОРИСТИЧЕСКИЕ РАССКАЗЫ

новку, и мы по-прежнему спали урывками.

Однажды, дело было в субботу, наверху громыхнуло так, что под нашими окнами выставились прохожие и в скверике заплакали дети. Тогда я взял в темной комнате молоток и пошел на сознательное убийство с применением тяжелого предмета.

Сосед, раскинувшись, лежал на поваленном шифоньере и пел горемычно русскую песню «Все васильки, васильки...»

Я не искал деликатных оборотов, а когда, распаясь, полез в карман за молотком, сосед сел на шифоньер верхом и сказал:

— Чего икру мечешь, интеллигент тонконогий, глиста несчастная!? Я пятнадцать лет в горячем цехе бухал и не могу раз в жизни шифоньер опрокинуть, да?

Я несколько смешался и ответил ему в том духе, что это, мол, вещи разные: шифоньер, например, и горячий цех, но чувствовал, между тем, что железная логика нестарого вдовца потихоньку гнет меня к земле.

— Ты не крути хвостом: имею право или нет? — сосед потянулся к подоконнику за цветочным горшком, не дотянулся и закрипел зубами. — Встать не могу, а то бы я у тебя, сволочь, глаз на анализ взял! — и заплакал.

Я ушел от него опустошенный и без молотка.

Дома жена спросила:

— Ты его приструнил?

— Нет.

— Почему же?

— Он пятнадцать лет в горячем цехе отбухал.

— Рохля! — сквозь зубы сказала жена. — Ты никогда мужчиной не станешь! — она плюнула мне на штiblеты и хлопнула дверь.

Я оглядел мебель в квартире. Повалить

шкаф с книгами, что ли? Нет. Чтобы иметь на это моральное право, нужно, по крайней мере лет пятьдесят работать в горячем цехе. Шкаф, значит, исключается. Ну, а диван вовсе нельзя шевелить — это, пожалуй, только гению сподручно: диван-то базарной работы. Стул? Тоже громко упадет. Как я оправдаюсь, если придут снизу и спросят: «По какой причине стулья ломаешь?» Скажу им, что десять лет отбухал бухгалтером? Засмеют — эка невидаль! Скажу, что у меня плодоносит лимон? Тоже легковесно. В конце концов, я смахнул со стола запасное перышко для авторучки, да и то подобрал: еще затопчут, а в магазине такое перышко не враз купишь.

...С того дня я стал особенно мучительно сознавать собственную неполноценность, да и потом об этом мне постоянно напоминали на работе, дома и на улице.

Вот иду я раз из кино, и один гражданин, молодой и современного вида, наступает мне на ногу и не ведет бровью. Я его догоняю и спрашиваю:

— Почему это вы не извинились?

— А мне, — говорит, — до фонаря — извиняться.

— Почему же до фонаря?

— Я, — говорит, — творческая личность я думаю и под ноги, как правило, не смотрю, недосуг. — И показал мне бумажку без печати, из которой яствовало, что этот человек состоит членом литературного объединения «Кристалл», имеет склонность к широким полотнам и пишет роман о крестносцах.

Крыть нечем — ведь и я не имею оригинальных склонностей. Значит, он наступил мне на ногу вполне законно.

Я не сдавался, я все искал пути для того, чтобы самоутвердиться, чтобы заработать неоспоримое право опрокидывать мебель,

ЮМОРИСТИЧЕСКИЕ РАССКАЗЫ

ширять локтями в толпе и не извиняться. А унижения мои тем временем не кончались.

В магазине через дорогу давали бананы. Когда настала моя очередь, а бананов было уже чуть, вперед меня протиснулся мордатый дядька в фуфайке и сунул продавщице чек.

— Вы же без очереди, уважаемый!

— Не хватай, я тоже хвататься могу! Моя машина ждет.

— Ну и что?

— Некогда, я же не бездельник!

— Я, по-вашему, бездельник?

— Само собой бездельник, коли по очередям толкаешься.

Дядька забрал последние бананы и пошел на трамвайную остановку, я же плелся домой, размышляя все о том же: какую же найти зацепку, чтобы самоутвердиться? Я перебирал варианты и вспоминал всех зна-

комых хамов. Можно, например, выучиться в критические моменты пускать изо рта пузыри — безотказно действует, но неоригинально. Один мой сослуживец козыряет дедом, который был портным у Чапаева, уборщица бабка Настасья лично взвешивала к празднику поросенка одному очень большому начальнику, когда работала в подсобном хозяйстве, старший бухгалтер нынче помогал рыбаку тащить тайменя весом на пуд... Но все это не то, мелко, если разобратся. Но я свое найду!

Сегодня я для начала опрокинул стул и жду соседей, я им отвечаю: имею право — у меня признали подагру. Сам профессор сказал: «Первый случай в нашем городе!» И подчеркнул, что подагрой болеют, как правило, выдающиеся личности. Например, Карл Великий и ряд других.

Теперь я любую дверь брюхом открое!

СИБИРЯКУ — НА ПАМЯТЬ

Сто лет тому назад, в старинном сибирском городке Кузнецке (ныне Новокузнецк) отбывал ссылку известный русский экономист и публицист Василий Васильевич Берви.

В 1869 году под псевдонимом Флеровский в петербургской типографии И. Н. Мышкина, революционера — подпольщика, привлеченного по процессу 193-х, имя которого В. И. Ленин ставил наряду с именами П. Алексева, С. Халтурна и А. Желябова, вышла книга «Положение рабочего класса в России», написанная Берви-Флеровским в куз-

нецкой ссылке (закончил книгу он в Вологде).

Книга В. В. Берви-Флеровского привлекла внимание К. Маркса.

Свое отношение к произведению Флеровского Маркс высказал в письме к Ф. Энгельсу: «Во всяком случае, это самая значительная книга, какая только появилась после твоего произведения «Положение рабочего класса в Англии».

Подлинник книги Флеровского с пометками Маркса был получен в 1960 году Институтом марксизма-ленинизма при ЦК КПСС вместе с дру-

гими документами из Германской Демократической Республики.

Положительно оценил труд Флеровского и В. И. Ленин. В своей книге «Развитие капитализма в России» он подтвердил, в частности, вывод Флеровского о том, что наибольшее движение крестьян на заработки наблюдается из губерний столичных и неземледельческих.

Немало интересных наблюдений над жизнью рабочего класса Кузнецкого округа приведено и в другой работе Флеровского — очерке «Работник-бродяга».

А. М а з ю к о в

ЮБИЛЕЙНАЯ

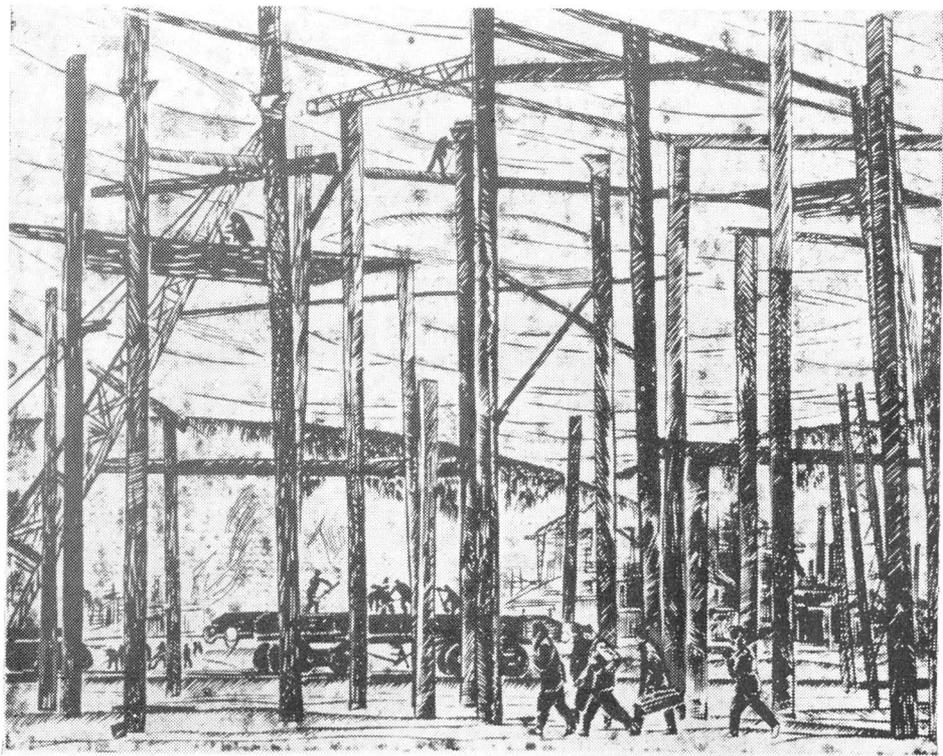
Верность народа идеям Ленина — основная мысль произведений третьей художественной выставки «Сибирь социалистическая». Открылась она в декабре 1969 года в Красноярске и посвящена 100-летию со дня рождения Владимира Ильича Ленина.

Художников волнуют различные темы: война и мир, земля, преобразенная трудом человека, и сам человек, действующий, мыслящий.

Вместе с живописцами большое количество произведений представили графики. Они выступили не только с листами станковой графики, но и с книжным оформлением и иллюстрацией. Раздел графики на выставке был самым большим.

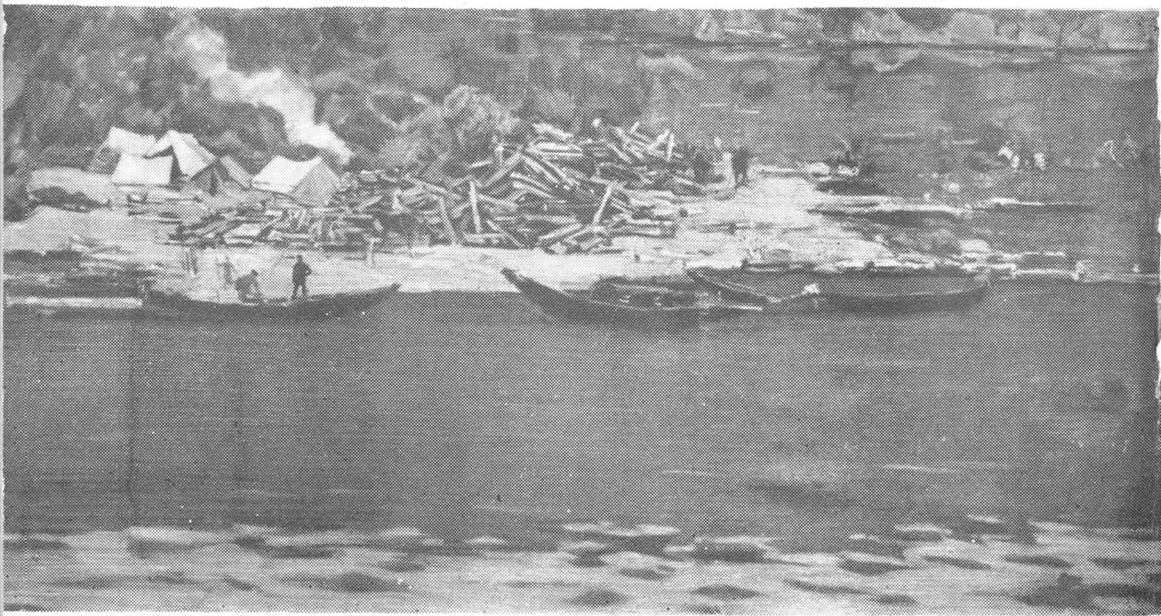
Участниками выставки от Кузбасса стали мастера изобразительного искусства (А. Ананьин, Н. Бачинин, Р. Берг, А. Гордеев, А. Кирчанов, Е. Коньков, И. Чермянин и др.). Многие работы наших земляков войдут в экспозицию республиканской выставки.

Р. Берг. Антоновская площадка. Смешанная техника, 1969 г.





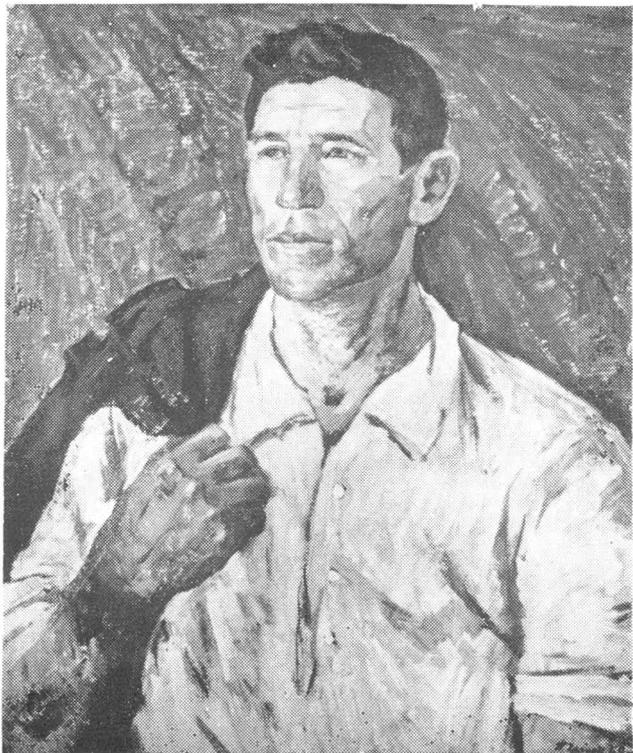
Н. Бачинин. **Над Толью.** Холст, масло
1969 г.



Н. Бачинин. **На сплаве.**
Холст, масло, 1969 г.



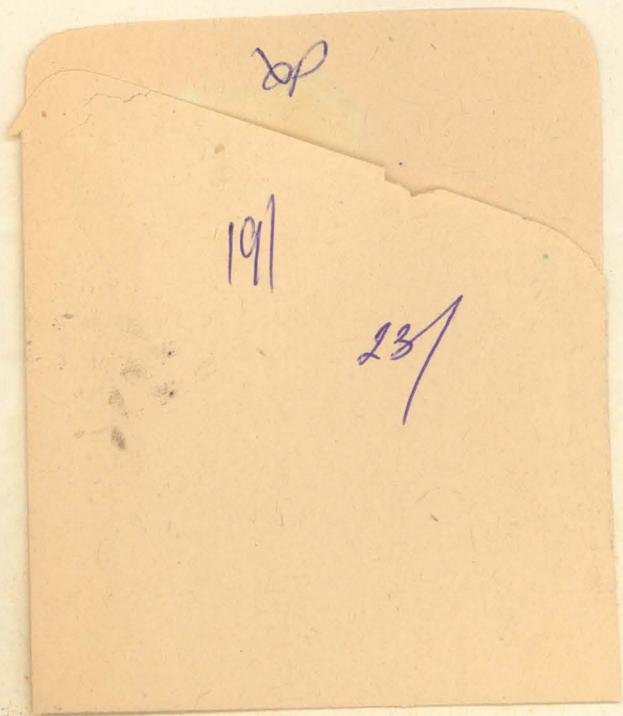
А. Гордеев. Рудник в горах.
Офорт, 1963 г.



П. Чернов. Портрет механизатора совхоза «Октябрьский».
А. С. Червова. Холст, масло,
1969 г.



Е. Коньков. Иллюстрация к русской народной песне. Офорт,
1968 г.



КЕМЕРОВО · 1970

Цена 35 коп.

ОГНИ КУЗБАССА

